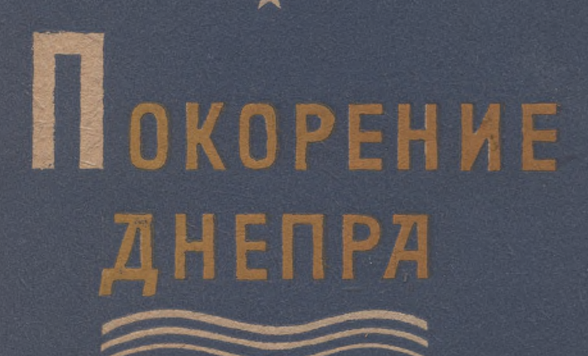
Конст.
Большаков



Федерация
1931

КОНСТ. БОЛЬШАКОВ

ПОКОРЕНИЕ ДНЕПРА

ОЧЕРКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА
1931

Константин Аристархович Большаков

Обложка Дм. Бажинова

Уполномоченный Главлита № 3669. ФОСП. № 550
Школа ФЗУ «Мособлполиграф» Заказ 568 Тир. 5200

ПОКОРЕНИЕ ДНЕПРА

1. ПОРОГИ

Тучи заботливо пытались укутать солнце. Жар его нестерпим. Ощущается он плотным и тяжелым, и вода за бортом — его последний отстоявшийся слой. Облачные старания однако не умеряли зной. Тучи — из лодки кажется, что они поднимаются прямо с земли, с обоих берегов, стилизованной аркой соединяются над рекою — меняют только характер пейзажа. Из задыхающегося, словно залитого расплавленным металлом, он делается зловеще настороженным, лиловым. Стаи галок, компрометируя гоголевскую гиперболу, всполошенно переносились с одного берега на другой. Кроме них и нас, плывущих в «дубе», кругом ни одного живого существа.

«Дуб» скользит по гладкой поверхности Днепра меж берегов и островов, ни в чем не изменивших своего вида за тысячелетия. Такой же челн, такой же пейзаж, который был здесь и при запорожцах.

«Капитан», старый каменский лоцман Тимофей Платонович Омельченко, словоохотлив, как профессионал-экскурсовод. Если не достоверностью,

то количеством сообщаемых им исторических сведений он может поспорить с таким исключительным и единственным знатоком истории «Дикого поля», как профессор Яворницкий. Впрочем, с Яворницким Омельченко знаком и этим знакомством очень гордится. Кой-что из тех периодов, которые никак не отпечатлелись в народных преданиях и памяти, он слышал и постарался запомнить со слов последнего. В таких случаях он всегда ссылается на авторитет:

— Так мне говорил профессор Яворницкий.

В рассказах Омельченко переплетаются века, эпохи. От X века, от повести о плаваньи сброшенного в Киеве в Днепр Перуна и выброшенного здесь водою на один из островов, носящий это имя и поныне, рассказ перебрасывается к XIX веку, к моменту постройки так называемого «Нового хода»,— обводных у каждого порога каналов. Эти каналы строились целых восемнадцать лет, с 1836 по 1854 год, и вздох нашего лоцмана говорит гораздо больше, чем полуразрушенная облицовка их стен.

— Прадеды наши кроме воды да вот еще того, что эти камни ворочали, почитай ничего на своем веку и не видали.

Жизни целого поколения приднепровских,— в порогах,— деревень стоила постройка этих каналов; не разрешивших проблемы взводного судоходства в этой части реки и не облегчивших даже сколько-либо значительно сплавного.

И поныне опытные и искусные лоцманы на порогах так же необходимы, как и двести, триста, четыреста лет назад.

— Да так же и плавали,— рассказывает про запорожцев Омельченко,— только у ихних «чаек» чердак (то есть корма) выше был: как нос был поднят. Такая чайка воды-то только грудкой, как птица, касалась.

«Чердак» у нашего судна, правда, много ниже, чем нос, но все равно что-то птичье чувствуется в нем, когда на порогах оно начинает перепрыгивать с одного водяного уступа на другой.

— Навались! Довольно! Навались! — командует гребцам Омельченко, и «дуб», черпая бортами, прорывается через полосу буруна, выходит на «вольную» воду.

Если издали, когда мы приближались к порогам, взбаламученная полоса реки походила на малую морскую волну, то ощущение, которое испытываешь, переезжая в лодке, ничем и никак не напоминает морской качки. Здесь вовсе не чувствуешь то опускающегося, то поднимающегося скольжения судна, на какие-то моменты словно прилипающего к бурно двигающейся водяной массе. Здесь все время — прыжки, отрывистые броски, словно какая-то невидимая сила перебрасывает лодку с уступа на уступ. Тяготение этой силы разом перестаешь ощущать с выходом на «вольную» воду.

У нас хороший лоцман. Провести через пороги

даже малый «дуб», и то только с пятью пассажирами, из целого селения, считающего по крайней мере в течение полутораста лет своим официальным и фактическим занятием только плавание через пороги, — взялся он один.

С Омельченко мы переплывем пороги по самому буруну, а не «ходом» или, как здесь еще называют, «лазом», узенькой, относительно спокойной в бурлящей воде тропинкой, по которой обычно переезжают пороги.

Впрочем и Омельченко провести нас через «пекло», самый бурный и самый опасный из всех порогов, через Ненасытец, не брался. Этот порог мы обойдем каналом, тем самым, постройка которого при Николае I стоила жизни прадедам многих Омельченко.

Пороги начинаются в пятнадцати километрах ниже Днепропетровска. Здесь течение реки окаймлено обрывистыми берегами, высота которых иногда достигает шестидесяти метров над уровнем воды. Гранитные гряды на каждом шагу перерезают русло реки. Поверхность такой каменной лавы бывает усеяна множеством камней, оторванных водою. Сплошные лавы, загораживающие все русло реки от одного берега до другого, называются «порогами». Лавы, запрудившие лишь часть реки, носят название «забор». Всех «забор» насчитывается свыше тридцати.

Главных порогов — девять. Самый грозный и большой из них — Ненасытецкий.

Рев Ненасытца слышен еще издалека. Гребцы на нашем судне подняли весла, а оно тем не менее все ускоряет и ускоряет свой бег. Омельченко, навалясь на «стерно» (рулевое весло), правит к левому берегу. От правого по всей ширине реки кипит и ревет бушующий водопад. Волны, заплетаясь косами, разбрызгивая пену, — от этих брызг над водопадом висит, не пропадая, низко спустившаяся радуга,— стремительно, словно они только что прорвали плотину, несутся по ступенчатым уступам. Падение их начинается по одной ровной, от берега до берега, прямой, словно по веревке протянувшейся линии. Над нею ровная гладь водяной террасы.

Течением нас стремительно относит влево. Омельченко правит к узкому протоку меж двух каменистых островов. Это и есть пресловутый канал.

— Часы посмотрите, час заметьте! — кричит лоцман.

Мы точно исполняем приказание.

Канал — это узкий, в два метра, расчищенный от камней фарватер; края его выложены обтесанным гранитом. Рядом, отделенный только островком, с ревом обрушиваясь вниз, на целых полкилометра бушует Ненасытец. В канале на-глаз заметна стремительность течения, видно, каким падающим уклоном опускается в нем водяная поверхность. Направляемая опытной рукой Омельченко, наша ладья течением выносится на середи-

ну канала. Весла попрежнему подняты; лоцман, стоя, всем корпусом навалился на стерно. Чахлые кустики по берегам канала мелькают, как в окне вагона. Минута и десять секунд, и канал протяжением больше километра оказывается пройденным. Это скорость почти курьерского поезда. Теперь, с «вольной» воды, позади нас видна почти отвесная стена падающего через порог Днепра.

— Здесь в прошлом году две лодки перевернуло... Три года назад барку и два плота разбило... Дед мой в семьдесят втором году...

Память Омельченко хранит катастрофы, происшедшие здесь и пять и пятьдесят, и много, много больше лет назад. Словом, начиная со Святослава, по преданию убитого здесь печенегами, когда он, возвращаясь «из болгар», высадился на берег, чтобы волоком обойти пороги. За столетия порог оправдал свое древнее имя Ненасытец, а имя действительно древнее: оно встречается в летописях еще киевского периода. Впрочем, здесь все древнее.

Потомственные в десятке поколений лоцманы составляют сейчас промысловую кооперативную артель, одноименную с селом Лоцманская Каменка. Впрочем не-лоцманов в ней и не живет. В самые последние годы артель не может пожаловаться на отсутствие заработков. Конечно, их ей доставляют не экскурсанты. По суше от Днепропетровска до Запорожья, бывшего Александровска,

на автобусе на полтора суток скорее, в четыре раза дешевле и без риска перевернуться вместе с лодкой на порогах.

Барыши потекли в Лоцманскую Каменку с того момента, когда возле Кичкаса за порогами зародилось строительство Днепровской государственной гидроэлектростанции.

«Лесбел», «Укрлес», лес, лес, лес, лес. Плоты из свежесрубленного леса, огромные, неуклюжие, неподвижные. Кажется, что их обгоняет даже течение. Целые флотилии таких плотов плывут по реке. На каждом отдельном — фанерная будка — жилище плотогона. По крыше такой будки — черная, огромными буквами, надпись. Неизменные два слова: «Лесбел» — «Днепрострой», «Укрлес» — «Днепрострой», «Днепрострой», «Днепрострой», «Днепрострой», «Лесбел» — «Днепрострой»...

Через пороги эти плоты проводят каменские лоцманы.

По вечерам на плотах зажигали костры. Костры отражались в воде, зыбились багровыми, зловещими полосами. Будки и надписи пожирала темнота. Скалистый берег неровной чертой обрезал фиолетовое свечение заката. Выше оно переходило в густую синеву. В густой синеве — путаные узоры ярких звезд. Ниже — тьма, густая, чернильная тьма: над степью, над Днепром. В чернильной тьме колеблются кровавые отблески костров. Тишина. Такая же тишина стояла здесь и тысячу лет назад, сторожила становища прикочевавших

к берегу печенегов, такими же кровавыми полосами костров бороздивших чернильные воды.

Но и впрямь ли все здесь только древнее?

Утром солнце горело просторно раскинувшимся блеском. Светился Днепр. Свежеобструганные бревна плотов золотились. Тимофей Платонович, ухмыляясь, сказал:

— В этом году обижаться на заработки нам не приходится. Ишь сколько лесу вниз гонят.

— Ну, а когда весь прогонят? Когда Днепрострой окончат? Когда и пороги навсегда изчезнут под водой? Тогда что вы будете делать?

Он ответил вопросом:

— А кто знает, что тогда будет?

Ни в улыбке, ни в жесте, которым сопровождался этот вопрос-ответ, не было ни тревоги, ни беспокойства.

Ночевавшие в «дубе» гребцы разматывали грязный парус. Дул легкий ветерок. На вершине обрывистого берега поднималась пыль. Ветер относил ее в степь, и казалось, кто-то горстями швырял темным бронзовым порошком в голубое небо. Пыль поднималась над развалинами глиняных хат. В развалинах копошились люди. Это переселенцы добирали из своих разрушенных жилищ остатки строительных материалов, которые могли пригодиться и на новом месте. Район подлежал в будущем затоплению. И у таких переселяющихся, как и у Омельченко, я не заметил ни

тревоги, ни беспокойства за будущее, которое несет им «Днепрострой».

2. ЧЕЛОВЕК БОРОЛСЯ

Режим реки как наука — это не менее сложно в смысле соподчинения различнейших дисциплин, чем наука о поведении человека. Как в том, так и в другом случае от окружающих условий и от самой природы объекта определяется, складывается характер его поведения — течения.

У реки в девяти случаях из десяти оба эти условия дружно способствуют достижению одной цели и только в одном вступают в жестокую и бесплодную борьбу. За несколько лет неузнаваемо может измениться фарватер, глубины затянутся выступающими на поверхность плесами, там, где были плесы, могут образоваться глубины, дно — ложе реки — может менять свой рельеф с прихотливостью перемежающегося бреда. Массы воды, падение воды образуют скорость течения. От свойств почвы, от мягкого, размываемого грунта происходят горбом вырастающие отмели, в свойствах почвы — причины непостоянства речного русла. Русла рек меняются беспрерывно, течения стремятся зависеть только от массы обращающейся здесь воды, река ищет более удобного, более устраивающего ее ложа. Грунт, размываемый, уступающий постоянству водяного упорства, помогает ей его обрести.

На пространстве многих тысячелетий Днепр на

протяжении почти 95 километров порожистой своей части никак не изменился сам, ни в чем не изменил своего русла. Гранитные лавы, в девяти местах перегородившие здесь такое же гранитное русло его от берега до берега, тысячелетиями оставались неодолимым препятствием течению и свободному плаванию человека. Они же в значительной мере определяли и ход истории на этих, тысячелетия остававшихся неизменными берегах.

Самые древние становища человека располагались на высоте порогов. В порогах позднее караулили кочевники купцов с заморскими товарами, ибо те, вытащив здесь свои ладьи на берег, делались уязвимее и беспомощнее. Сколько кровопролитных битв, сколько трагедий разыгралось здесь! И тогда эти берега были такими же, в серой, неяркой степной растительности, целыми днями выжигаемые солнцем, никем и никогда не обрабатывавшиеся.

Такими видел их в XII веке посланец Людовика IX к монголам, монах Рубруквис, описавший переправу здесь русского каравана с мехами, отправляемыми для обмена на крымскую соль. Об этой же переправе сообщает и еще более ранний писатель Константин Багрянородный, описывая путь, которым херсонесцы ездили в Киев. И у него — голая, безлесая степь, каменистые скалы берегов, тот же пейзаж, который мы видим сейчас, который открывался здесь взору и в XIV, XV и XVI веках, но который теперь обречен исчезнуть,

пропасть. Тысячелетия берега не меняли своего вида. Потому-то так цепко и держат здесь острова, скалы, переправы свои названия, доставшиеся им от давно миновавших эпох.

Татарская переправа — традиционное место, откуда начинались татарские набеги на Правобережье, Пеpуний остров — где пристал сброшенный в воду в Киеве Перун, Музыкальная скала — по плеску волн около которой запорожцы угадывали погоду и т. д. и т. п.

Но не только в исторические эпохи здесь расстилался такой же, как сейчас, пейзаж. И за много тысячелетий до нашей эры, во времена неолита, рельеф местности, контуры берегов были такими же. Гранит упорен: он не поддался ни времени, ни Днепру.

По дороге сюда, на высоте последнего порога, «Вильного», мы останавливались взглянуть на производившиеся там раскопки. Юный энтузиаст-археолог, заведывавший ими, рассказал, по каким признакам здесь была определена стоянка неолитического человека. Он провел нас по уступчатым гранитам к самой воде. На одном из камней, большом и плоском, он показал нам правильные, разной формы и величины углубления. Это были так называемые «полиссуары»,— станки, на которых неолитический мастер изготовлял свои орудия. Для работы, чтобы точить кремень о гранит, постоянно требовалась вода. Поэтому открытие таких «полиссуаров» на том или ином ме-

сте — всегда приблизительный указатель постоянного уровня воды в данную эпоху.

Что особенного в зрелище этих яйцеобразных углублений в граните? Но оно волновало, и юный археолог-энтузиаст, очевидно зная это точно, с улыбкой оторвал нас от созерцания.

— Вот посмотрите!

Он достал из кармана молоток, ничем не отличавшийся от других таких же, вырытых здесь из земли. В нем не было просверлено отверстия, он вставлялся в расщелину палки и укреплялся в ней веревкою из жил животного.

— Вот посмотрите,— археолог загадочно улыбался при этом.— Только очень опытный человек определит в нем подделку. Не правда ли, на ваш взгляд он ничем не отличается от других, ему подобных? А между тем этот молоток — несомненная подделка. Его сделал я. Я точил его ровно три недели и тратил на него не менее четырех часов ежедневно. Но у меня были стальные напильники; предварительно я обработал камень железным молотком. А вот эти,— он показал на лежавшие в груде выкопанных из земли,— эти сделаны на полиссуарах. Теперь вы представляете, каких усилий стоило выточить их. Свой опыт я и проделал только затем, чтобы составить себе, хотя приблизительно, представление о том, чего стоили неолитическому человеку его орудия.

Для точки кремневого топора постоянно требовалась вода. Днепр вдохновлял и указывал перво-

бытному человеку, где построить ему свою мастерскую. И следовательно здесь, вот на этой самой, ничем не изменившейся гранитной глыбе, отделенной от нас тринадцатью тысячелетиями, сидел полуголый человек, обтачивая кремень. Обточенный кремень был ему необходим как оружие, им он боролся, пытался покорить ощерившуюся на него природу. Через тысячелетия его потомки, вооруженные и более совершенными орудиями и более совершенною мыслью, совершали грандиозные победы над тем же противником. Через очень много веков они отважились вступить в единоборство с Днепром.

На другой день, после того как мы видели на пустынном берегу расчищенные «полиссуары», мы смотрели на Днепрострое работы по основным сооружениям. На камнедробильном заводе громадные глыбы гранита глотала чудовищная пасть основной дробилки. Из дробилки на подвижной лоток высыпались уже совсем маленькие камешки. За час эта дробилка сокрушала 250—300 тонн камня. В котловане электрический экскаватор «Марион», ворочаясь направо и налево с легкостью, непостижимой в такой махине, грыз скалу. Стальные зубья черпака, как сахар, крушили разрыхленный взрывом гранит. Черпак, емкостью до трех кубических метров, легко отбрасывал разрушенную породу. Один человек неделями точил кремень о гранит, извлекая из мертвой массы камня живое тело топора, другой одним поворотом

рычага заставлял машину перебрасывать с места на место стопудовые глыбы гранита. За час машина срывает до основания мощную скалу. Этого достиг потомок полуголого человека. Это делалось затем, чтобы здесь можно было поставить плотину, остановить, покорить, подчинить воле человека воды Днепра. Через три года они, натолкнувшиеся здесь на препятствие, выйдут из берегов, зальют огромные пространства земли. Орошенные поля приобретут высокую плодородность, дешевая электроэнергия будущей Днепровской станции послужит мощным стимулом для сельскохозяйственной промышленности. Пейзаж, оставшийся неизменным в течение тысячелетий, разом и резко изменит свой вид. Через очень, очень много веков потомки полуголого человека, вытачивающего на «полиссуаре» каменные молотки, отважились вступить в единоборство с Днепром. Они побеждают. Тысячелетиями остававшийся неизменным пейзаж накануне чудесного преображения. Но окончательная победа будет завтра.

3. ПОБЕДА БУДЕТ ЗАВТРА

Естественно первым, что выработалось в единоборстве с бушующим на порогах Днепром, было искусство переплывать эти самые пороги. В течение столетий оно усовершенствовалось настолько, что в 1787 г. каменские лоцманы сумели провести даже через Ненасытец все суда флотилии Екатерины, совершавшей тогда путешествие. Восхищен-

ная таким их искусством императрица тут же повелела освободить жителей селений Кайдак и Каменки от всех казенных повинностей, не исключая и рекрутской, а кстати и от земельных наделов. Потомки екатерининских лоцманов, те, кто ведут сейчас плоты леса к Кичкасу, конечно, последние.

Через три года не будут нужны никакие лоцманы, через три года будет покорен Днепр, в предания отойдут пороги. Вот почему, спускаясь по реке к месту сооружения величайшей в Европе плотины и гидростанции, начинаешь понимать, что под словом «Днепрострой» скрыто понятие несравнимо большее, чем мы привыкли вкладывать в сочетание «река» — «строй», «строй» — «река».

Путешествие Екатерины II по порогам имело следствием не только сомнительные привилегии каменским лоцманам.

Полковник Фалеев, получив авансом в награду ранговую дачу и столько-то душ крепостных, приступил к осуществлению своего проекта по приведению в судоходное состояние порожистой части Днепра. Результат этих работ, закончившихся уже при Александре, нельзя назвать даже ничтожным: он просто никакой. Не изменили условий судоходства в этом месте и девять открытых каналов, сооружавшихся по упрямой воле Николая I, жаждавшего стратегического водного пути к Черному морю. Неразрешимость судоходной проблемы в последующие годы упорно один за

другим вызывала новые и новые проекты. Предлагавшие только выправление и расчистку русла отступали перед такими, которые требовали сооружения шлюзовых каналов. И те и другие требовали грандиозных затрат, и те и другие оставляли достаточно сомнительной целесообразность их осуществления. Только к концу прошлого века представилось возможным благодаря накоплению данных исследований и углублению проработки вопроса доказать вполне реальную техническую осуществимость разрешения поставленной задачи. Но здесь вопрос неожиданно натыкался на порог, не предусмотренный никаким гидрографическим исследованием. Размеры судоходства, которого можно было ожидать по шлюзованному Днепру, никак не могли окупить стоимости сооружений. Проект отпадал сам собою. Потомкам полуголого человека, точившего здесь свой каменный топор, нужно было вооружаться еще и другим оружием, чтобы покорить Днепр. Технический арсенал XIX века оказывался недостаточным.

С новым веком проблема Днепра вступает в новый фазис. Чисто судоходные задачи, которые преследовали появлявшиеся до сих пор проекты, соединяются теперь с задачей использования водной энергии. Новые проекты пытаются теперь разрешить проблему и в судоходной, и в энергетической ее части. Но и для этих последних скоро обнаружились неодолимые пороги. В рай-

оне не находилось и не могло найтись потребителя, полностью использовавшего бы будущую электроэнергию. Разноречивость частных предпринимательских интересов исключала возможность создания новых мощных потребителей будущего тока. Алчность крупных землевладельцев, чьи, хотя и необрабатываемые и неудобные для земледелия участки должны были скрыться под водой при подъеме уровня реки, требовала чудовищных сумм за их отчуждение. В стране должна была произойти социальная революция, и только тогда днепровская проблема смогла разрешиться.

«Днепрострой» — сооружение, которое скроет под водой пороги, сделает реку судоходной; сооружение, которое будет питать даровой энергией десять турбин по 80 тысяч лошадиных сил каждая; «Днепрострой», который снабдит район пятьюстами пятьюдесятью пятью тысячами киловатт дешевой электроэнергии, — такое сооружение оказалось возможным и осуществимым только в наше советское время. Только формы социалистического хозяйства могли настойчиво требовать скорейшего проведения такого проекта в жизнь.

Но «Днепрострой» — это не только гидротехническое сооружение, призванное изменить на пространстве 95 километров тысячелетиями остававшийся неизменным пейзаж: «Днепрострой» — это новая эпоха, в корне меняющая открывав-

шиеся до сих пор экономические перспективы района.

Дешевая электроэнергия, будущий избыток ее здесь настойчиво требуют себе потребителя. Проект «Днепростроя» предусматривает возведение огромного промышленного комбината металлургических и химических заводов. С их возникновением, с открывающимся новым водным путем появляется необходимость и в новых мощных железнодорожных магистралях. Сейчас, одновременно с основными сооружениями «Днепростроя», уже перекидываются мосты через оба рукава Днепра ниже будущей плотины, уже поднялись из воды их гранитные устои, уже подводится и подведена к ним насыпь будущего полотна сверхмагистрали. Уже заводы будущего комбината обретают свою вторую форму,— не на бумаге и кальке, в карандаше и туши, а на земле, в кирпиче и бетоне. Века сблизились, сошлись вплотную, новый грядущий стирает последние следы своих предшественников.

4. ТЕМП, САМОЕ ГЛАВНОЕ — ТЕМП

У византийского писателя Константина Багрянородного это место носит название Крарийской переправы. Пять веков спустя оно называлось Кичкасской. Последнее название сохранилось, перейдя к поселку. О том, что здесь была переправа, забыли. О том, что здесь переправлялись через Днепр чумацкие обозы, не рассказывал даже Омельченко. Река здесь делает крутой поворот,

чуть ли не под прямым углом сворачивает вправо. Здесь одно из самых узких мест в нижнем течении. Узкая полоса отмели. Дальше скалистые, обрывистые и высокие берега. Дальше Днепр снова становится шире, разделяется на два рукава, огибая историческую Хортицу, где некогда была Запорожская Сечь. Между Хортицей и местом былой переправы — поселок Кичкас, но... о поселке потом.

Мы прибыли сюда около полудня. Высоко в небе пылилось смуглое, как личной загар, степное солнце. Пыль, та самая пыль, с которой нам пришлось хорошо познакомиться на обратном пути, степная, неистовая пыль, в течение одной минуты покрывающая ваше лицо слоем чуть ли не в полсантиметра, застилала дали. Близко где-то ухали взрывы. Как будто совсем рядом, скрытый только складкою местности, завязывался или изнемогал артиллерийский бой. Предупреждающие надписи и красные флажки, как на стрельбище, показали дорогу в поселок. Тропинка, извивающаяся вдоль самого берега, посохшая, желтая трава и пыль.

Поселок с первого взгляда не поразит вас своим видом. Но в этом поселке ходит автобус. Люди, именно люди, потому что на улицах не толпились, люди чем-то — видом ли, торопливой ли походкой или еще чем другим,— не были похожи на «поселковых». С первых шагов, может быть, поражает еще отсутствие пыли в этом

поселке, яркая зелень насаждений. Но это все такие мгновенные, забывающиеся факты, которым не пытаешься искать объяснения.

Автобус поднимается в гору. Справа от его пути прямые широкие улицы. Их обступили аккуратные, стандартного типа домики с верандами и палисадниками, по плану разбитые парки. Слева пустынный зеленый откос, за ним железнодорожная насыпь, дальше Днепр, берег, разрытый выемками, загроможденный отвалами и строительными лесами.

Не требуется даже большого воображения, чтобы представить себе, что было здесь три года назад. И отсюда можно видеть серо-желтую, на десятки верст кругом расстилавшуюся степь. На такой же серо-желтой степи, на этом ее кусочке, вырос в два года дом, разбились парки; площадь посевов так зелена, что заставляет забыть о том, что они не тенисты. Свыше пятидесяти гектаров свободной в поселках площади покрыты таким зеленым ковром. Но этого мало. Чтобы защитить поселок от пыли, потребовалось посадить свыше 75 тысяч штук кустарника, более 18 тысяч молодых и около 300 старых деревьев. Каменистая почва упорно сопротивлялась и сопротивляется разводимым на ней насаждениям. Может быть, в этом малом труднее всего было одержать победу над природой. Но она одержана, как будет одержана и в любом другом, великом или малом, но обреченном здесь на поражение.

Автобус доставил нас к геометрическому и духовному центру строительства. Серый — из бетона и стекла — четырехэтажный дом с плоской крышей-террасой виден издалека с любого места вокруг. Понятно, что он занимает командные высоты над прилегающими поселками и над спустившимися в самое ложе Днепра работами по возведению плотины. Ведь это — мозг и сердце всего строительства — управление главного инженера.

Вряд ли само по себе такое строение способно вызвать какие-либо особые переживания, попадаясь на глаза даже нерассеянному туристу. Но если он видит его после того, как на пространстве десятков километров ему не попадалось никаких других сооружений рук человеческих кроме курганов, если этот нерассеянный турист только что проделал перед тем двухдневное путешествие по воде, вдоль берегов, девственно неизменных на протяжении многих сотен веков,— такое зрелище не может не запечатлеться.

Мы вошли в штаб руководства борьбой за перерождение земли. Здесь в управлении строительством впервые ощущаешь те новые темпы, которыми здесь живут и работают.

В учреждении с многочисленными отделами, разбросанными по разным этажам, мы не потеряли ни одной лишней минуты на поиски тех, кого нам нужно было видеть, с кем говорить. В те-

чение десяти минут мы были обеспечены жилищем, нас снабдили пропусками, нам предложили даже расписание нашего завтрашнего «трудового» дня.

Человек с сухим астеническим черепом, с изможденным, как от долгой болезни, лицом, поспевая чуть ли не одновременно говорить по трем телефонам, отвечать обращавшимся к нему, отдавать какие-то распоряжения и приказания,— этот человек, разрываемый просителями, буквально распятый на трех телефонах, сумел находить такие горячие слова, чтобы указать, с чего должно начаться наше знакомство со строительством, что мы переглянулись. Мы видели настоящее горение подвижника, и у меня и у моего спутника — я не сомневаюсь — мелькнула одна и та же мысль:

«Как велико, как непостижимо велико должно быть дело, какой грандиозной идеей должен быть пропитан весь человек, если он непрерывно может гореть таким энтузиазмом!»

В конференцзале управления главного инженера «Днепростроя» висит на стене графическое изображение порожистой части Днепра.

Если на него смотреть, когда на лице еще чувствуешь опаляющий жар застывшего над водой солнца, когда окончательно не освободился еще от сонной одури медленного двухдневного пути по воде, когда этот самый путь и прыжки древнего «дуба» на порогах ощущениями равно сли-

ваются в памяти с качкой доставившего нас сюда автобуса, — этот график потрясает.

Ведь это — 95 километров разорванной порогами водной глади, это два дня медленного плыва по ней! Этот сухой чертеж не менее выразителен, чем пейзаж, загромоздивший сейчас вашу память.

Зубчатая падающая линия — дно реки, Днепр, его ложе. Отдельные зубцы, поднимающиеся над прямой его поверхностью, — пороги. Обелиск — тонкая, на иглу похожая башня — профиль плотины. Она строится. Через год темпы, которых не знали не только у нас, но и в Америке, доведут ее до конца. Голубой треугольник на чертеже, упершийся основанием в обелиск, раскинувший прямую ровную поверхность над ломаной линией дна, — это будущее озеро поднявшегося над плотиной Днепра, навеки хоронящего в своих недрах и пороги и тот древний, древний пейзаж.

Но ведь это — схематическое изображение лишь части того, что будет представлять собою завершенный «Днепрострой», это — графическое изображение только смиренной стихии побежденного Днепра, изображение в разрезе того будущего резервуара, который будет хранить в себе силу для работы десятка турбин по 80 тысяч лошадиных сил каждая. Здесь нет шлюзного канала, по которому будут подниматься суда из нижнего бьефа в верхний. А огромный промышленный комбинат металлургических и химических заво-

дов, который вырастет, чтобы питаться преображенной силой покоренного Днепра? А сотни тысяч гектаров орошенной и ставшей плодородной земли? Это ведь тоже «Днепрострой»!

— Темп, самое главное — темп, — говорил сопровождавший нас по строительству руководитель — инженер.

Эти слова, сейчас одинаково обязательный лозунг в любой отрасли общесоюзной стройки, здесь звучат по-особому убедительно, по-особому налиты серьезным и деловым содержанием.

Мы покидали «Днепрострой», когда из степи навстречу ползла лиловая туча. Стемнело рано. В сером однообразии голой степи, нарушенном только массивными профилями курганов, вдалеке, на возвышенности горел яркий свет. Это сплошными стеклами своих этажей светилось здание управления главного инженера. Казалось, оно поднимается тоже из света, потому что кругом светились улицы, потому что за два года здесь в голой степи вырос целый город, своим культурным благоустройством во всем отвечающий современным понятиям. За ним, за этим освещенным городом черный кусок неба был выхвачен раскаленным добела кратером. Это — котлован. Там день и ночь машины и люди, люди и машины неустанно работают, чтобы за три года изменить то, что не могли изменить тысячелетия, чтобы на этой земле построить совсем новую жизнь.

— Темп, самое главное — темп.

5. ГОРОД РАСТУЩЕГО ИМЕНИ

Почтовый адрес строительства — поселок Кичкас.

«Кичкас» написано на кузовах автобусов, курсирующих между Днепропетровском и Запорожьем. Кичкасом же и посейчас даже на новых картах именуется то место, где заложено основание будущей гидростанции. А между тем в быту, в разговорном обиходе это понятие утратило и утратило окончательно свою самостоятельность.

В том просторном и благоустроенном лучше, чем любой окружной город, человеческом расселении, которое за два года возникло на этом месте днепровского берега, от старого Кичкаса, от бывшей немецкой колонии не осталось решительно ничего. Ни в пейзаже, ни в быту.

На самом строительстве — «Кичкас» это термин местной городской топографии, и только. Это район двух небольших уличек с немногочисленными домами и еще более малочисленными торговыми учреждениями. Да и этот единственный на строительстве район, целиком состоящий из домов старой стройки, доставшихся в наследие от немцев, этот, к слову сказать, через два года бесследно и навсегда скроющийся под днепровскими волнами район поселка мало чем напоминает о своем прошлом. Это — преддверие, окраина. Понятно, что здесь неряшливее просторные палисадники, понятно, что здесь в разрыве между до-

мов должны жаться ларьки и лавчонки, понятно, что и архитектурный пейзаж, долженствовавший дышать при былых обитателях сытостью, расчетливой скупостью и старательно оберегаемым от постороннего взгляда богатством, должен быть здесь хмур и невыразителен.

Но здесь же проложена такая брусчаточная мостовая, какой может позавидовать любой, даже и окружной город; здесь очередь у остановки автобуса покажется вам привилегией, отторгнутой от какого-нибудь большого промышленного центра: так многообразна и выразительна она по своему составу. Еще вас поразит здесь отсутствие праздных обывателей, без которых трудно представить себе улицу маленького южного города. Может, вас поразит еще, что эта самая брусчаточная мостовая нигде не перегорожена по летнему времени рогатками, нигде ее не ремонтируют, а между тем по ней, не вызывая ни у кого удивления, тракторы тащут целые поезда груженых повозок. Меня это поразило.

Позади были города с калеченными и чинящимися мостовыми, российские исторические ухабы дорог, двое суток пути по воде, по Днепру, через пороги, на «дубе», за столетия не изменившем ни своей формы, ни конструкции; была сонная гладь Днепра между порогами, пейзаж которой был таким же и во времена неолита; были черные ямы раскопок, из которых при вас вытаскивали на свет предметы, не видевшие его более

десяти тысячелетий; века ненарушимо дремали над мутными водами Днепра, была сонь, полное ощущение остановившегося времени. И вот здесь, из этого остановившегося времени мы вступали на современную мостовую; по ней проносились автомобили. Обилие их даже после Днепропетровска бросалось в глаза. Века проснулись, начали жить. Но какой это был век?

Из Москвы мы летели на аэроплане — это был XX век. Харьков — Днепропетровск — поездом — XIX. Дальше по Днепру —X — XV. Сейчас? Какой это был век?

Двадцать первый. Конечно, это будет преувеличением. Но не почувствовать, что здесь уже оторвались от медлительного российского времени, идут, обгоняя его,— не почувствовать этого здесь невозможно.

Необычайные даже для Америки сроки, в которые будут сооружены величайшая в мире плотина и гидростанция, необычайные, невероятные темпы работ, их максимальная механизированность перестраивают и перестроили уже во многом инертную человеческую психику. Новые, невиданные до сих пор трудовые процессы поколебали привычное представление о самом труде и о времени у всех этих полтавских и казанских землекопов, херсонских каменщиков, минских и костромских плотников, штукатуров, бурильщиков, бетонщиков, каменотесов. Все они, стянутые сюда на строительство из разных уголков Союза,

живут и работают здесь темпами не сегодняшнего дня. Может быть, в сознании только еще очень немногих из них укрепилась мысль, что они являются бойцами на одном из ответственнейших участков боя за социализм, но то, что они — строители, перешагнувшие через наше время, обогнавшие его, —это чувствует каждый.

На «Днепрострой» вступаешь через поселок, вернее через поселки. Поселки первые начинают складывать о нем представление.

Белые, аккуратные, стандартного типа домики-коттеджи. Прямые, как по линейке выведенные улицы. Зеленые, по плану разбитые газоны. Зелень в парках, зелень окружает дома, цветники пестры и нарядны, зелень свежа, как будто сюда и не могут пробраться неистовые степные ветры, несущие тучи неистовой степной пыли. Я уже говорил, что здесь вас поражает эта «пылевая смиренность», вас поразит еще больше, когда вы узнаете, какие усилия тратятся здесь на борьбу с этим бичом степного края. Это удивление, может быть, потеряет свою остроту, когда вы подробнее познакомитесь с тем, что сделано здесь для обеспечения лучшими бытовыми условиями призванных сюда строить.

Как правило, у нас пускались в эксплоатацию железные дороги, когда рядом с ними не было возведено ни одного гражданского сооружения, как правило, у нас строили и пускали заводы и фабрики, а рабочие поселки без всякого плана

совершенно самостийно вырастали возле них только годы спустя. На «Днепрострое» раньше чем приступили к работам по основным сооружениям, широко было развернуто плановое жилищное строительство. На месте работ за короткий промежуток был создан благоустроенный город с канализацией и водопроводом, обширными древесными насаждениями и превращенными в парк пустырями. Разве это не удивительно? Разве не привыкли мы больше к беспорядочным таборам плохо сколоченных бараков и землянок? Разве десятилетиями не усваивалось русским рабочим-строителем,— тем самым землекопом и каменотесом, который в тайге возводил насыпи, в горах прорыл ущелья, на реках выложил каменные основания мостов, — разве не усваивалось им, каждой весной уходившим на заработки, что летом весь строительный сезон он будет жить кой-как и как-нибудь, ютясь в наскоро сколоченном бараке или землянке?

Но работники «Днепростроя» с недоумением встретят ваше удивление.

— А как же может быть иначе? Ведь для тех, от кого потребуется такое максимальное напряжение труда, должны, непременно должны быть созданы условия, убеждающие, что здесь и его труд и его самого уважают.

Днем в поселках вы не услышите того шума, который говорил бы о степени его заселенности. Впрочем, такая же относительная тишина здесь и

вечером и ночью. Работы идут непрерывно круглые сутки, а человек, знающий цену своему труду, умеет уважать и труд и отдых другого.

Но не в уважении дело.

Котлован, где днем и ночью кипит беспрерывная работа, котлован, на который обращены все силы и все напряжение строительства, этот котлован своим природным беспорядком, своей кипучей и тесной суетой похож на картины древней осады. Паровые экскаваторы и краны — одновременно и старинные балисты и современные танки. Подрывники — передовые отряды легких стрелков. Сжатый кислород рвется в бурках с грохотом тяжелого снаряда. В этот грохот, в развороченные им каменные раны врываются стальные зубья экскаваторов. Грызут, ворочают, раскидывают. В недра земли, в недра речного дна врубается человек, расчищая плацдарм для окончательного сражения с непокорной стихией. Лязгают цепи подъемных кранов, грохочут самоопрокидывающиеся вагоны — думпкары. Гудят по-деловому неистово паровозы. Срубленные ряжи похожи на лестницы, штурмовые лестницы трудной и героической осады.

Впрочем здесь не только осаждают.

Если бы современная артиллерия знала какие-нибудь тела, способные сопротивляться ее разрушительным действиям, вероятно, стены таких невозможных крепостей выглядели бы, как этот фундамент плотины. Бычки, в пазы которых бу-

дут вставляться громадные стальные щиты, запирающие воду, похожи на бойницы. Под стенами этой крепости нервной тревогой начавшегося наступления кипит работа. Ночью котлован залит электрическим светом настолько, что сверху он кажется выжженной, раскаленной добела в черной тьме дырой. Электрический свет раздвинул, поднял от земли синюю украинскую ночь. В ночи отчетливее слышатся исходящие от котлована грохоты и лязги, оглушительно тяжкие вздохи взрывов. И ночью, как днем, в часы смен идут по улицам по-деловому торопливые толпы. Бессонными окнами горит в ночи четырехэтажный дом, возвышающийся над всем строительством: штаб по руководству этим наступлением. Быт трудовой и боевой быт остается стандартным для любого часа суток.

И ему ли не переработать, не изменить инертной человеческой психики? Ему ли она сможет сопротивляться? Война перевернула, переработала сознание миллионов. Такое строительство — это тоже война, мирная война.

На перевыборах профкома, на которых я присутствовал, вносились такие добавления в наказ: «Побольше книг в отдаленные рабочие поселки», «Школы профученичества», «Школы общеобразовательные», «Школы для детей», наконец. Поднять свою квалификацию, внимание выдвиженцу, детям; учить детей здесь же, на строительстве,— конечно, иначе и не должны говорить патриоты про-

изводства. Но кто были патриотами этого производства? Сезонник-строитель, тот самый сезонник, который, как волк в лес, смотрит в родную деревню. И этот же сезонник вступает здесь в «изобретательские ячейки», вносит проекты ценных технических усовершенствований: рабочее изобретательство уже дало не одно премированное предложение. Этот же сезонник выделил из своей среды рабкоров. И, наконец, — нет, это не только в штабе, не только штаб, тесня, ускоряя сроки желанной победы, далеко оставил позади нормы ежедневной кладки, нормы ежедневного роста тела плотины, максимальные нормы, определенные немецкой и американской консультациями. Штаб мог это сделать, зная не только силы, но и волю, неуклонную волю своих солдат.

Эти впечатления, это представление об особом, отличном режиме труда, о новом перевоспитывающемся и растущем строителе почерпнуты из того, что я видел в поселках, что я видел в самом котловане. Но как в первый день моего пребывания здесь, так и сейчас мне непонятно одно: почему эта огромная территория, застроенная и снабженная всеми аксессуарами культурного современного человеческого расселения, территория, имеющая свою электростанцию, мощностью не уступающую, а даже превосходящую многие городские, территория с проложенными по плану замощенными улицами, с тротуарами, паровыми прачечными, водопроводом, банями, с больницей-стационаром,

рассчитанным на сотни коек, с театрами и стадионами,— это расселение 15 тысяч человек, этот поселок, за два года обогатившийся 75 тысячами метров новой жилплощади, поселок, коммунальные расходы которого превышают миллион рублей в год, почему этот поселок, где расселены бойцы за будущее, строители будущего,— не называется городом, не имеет своего названия. Но оно должно быть, и оно уже есть. Ибо это не отдельные поселки, не отдельные заводы и мастерские, это все создано, вызвано к жизни и живет одной и для одной общей цели.

Имя этого города, Октябрьской революцией рожденного для того, чтобы приблизить, утвердить на земле социализм, уже есть. Его можно прочесть на капоте проползающего там трактора, на борту грузовика или думпкара, им перемечен весь механический инвентарь строительства. Оно на вывесках учреждений, в заголовке местной газеты: «Днепрострой» — Днепрэльстан.

Кичкас — Москва.
Июль — декабрь 1929 г.

МОСТ

Строился он целых пять лет, и в поселке, сейчас почти и не видном за десятисаженными башенными его опорами, так привыкли к беспорядочным таборам грабарей, каждую весну селившимся над крутым береговым откосом, к молчаливым каменщикам, размещавшимся в наскоро сколоченных бараках, к десятникам и техникам, квартировавшим по преимуществу у мещан, к сутолоке и многолюдству, которыми оживал каждую весну берег, привыкли настолько, что и самая постройка его стала представляться чем-то извека и беспричинно существующим, неизменным и неистребимым, как и сам поселок; что она когда-либо закончится, что на этом месте возникнет мост — в это тогда никто бы и не решился поверить.

Так или приблизительно так можно было понять человека, который, по его собственным словам, только то и делал мальчонкой, что без дела на постройке болтался. Но мост в конце концов все-таки выстроили; те два с половиной десятка лет, которые отделяли моего собеседника от бездельного шатанья на постройке, заполнились и за-

мутились другими событиями; мост словно помогал его памяти, перебросившись через этот двадцатипятилетний поток, удержать на себе вещи и факты, не смываемые годами.

Мост, например, в двадцатом году взрывали махновцы. Мой собеседник с восторгом и восхищением рассказывал, как выплывали и скрывались опять в волнах рогатые головы гуртового скота из маршрута, сброшенного взрывом в реку.

— Вагоны, как бусинки с нитки, в Днепр валились. Поезд-то прямо, как цепочка, повис,— разъяснял он.

Эти падавшие, как бусинки, вагоны, до-отказа набитые гуртовым рогатым скотом, сталкивались, разбивались в щепки раньше еще, чем скрывались под водой. На поверхность то-и-дело всплывали, барахтаясь в последних предсмертных судорогах, искалеченные животные, секунды ухитрялись удержаться на ней и затем пропадали навеки.

— Одну живую все-таки теченьем к берегу прибивать стало. В поселке-то все попрятались: со всех сторон ведь стрельба идет. Ну, а я, конечно, ничего — мне ничего быть не может.

Он подробно и красочно рассказал, как удалось ему вытащить на берег живую корову. Не менее красочно был изложен и процесс свежевания. Две бочки соленого мяса сделали его купцом. Месяцы он менял его на разнообразные вещи, делавшие его по понятиям того времени богачом. Потом пришел нэп. Меновой азарт увлек его в города.

Города в его рассказе различались только базарами. У него уже были деньги, деньги уже начинали сулить «самое настоящее», как он определил его, будущее, и вдруг:

— На соли ошибся. Все прахом пошло: с солью тогда дела делал, а тут как на зло соль разрешили возить свободно.

Тогда вот он вернулся в поселок. Вокруг разрушенного моста копошились, производя какие-то обмеры, люди. На берегу уже приступили к постройке бараков, и опять, как двадцать лет назад, слонялся он здесь, ходил и смотрел на работу, которая словно затем и была только начата, чтобы воскресить его необремененное заботами детство.

— Думал опять, что интересное увижу.

Он сплюнул презрительно и раздраженно. Впрочем, о том, что обнаружилось интересного при первой постройке, не было сказано еще ни слова. Соль, так предательски сокрушившая надежды на «самое настоящее» будущее, отравила его скептическим недоверием к любому чужому начинанию. Как все лентяи, он упорно убеждал себя, что не только из его собственных, но из любых чужих начинаний путного выйти ничего не может.

— Постройка, конечно, велась медленно, да и какая это постройка — заплатку на мосту положить. Однако совсем по-настоящему народу нагнали. Смерть люблю, когда кругом народу много,— вдруг и неожиданно оживленно перебил он себя.

Наступила пауза. Пауза забилась вечерней, похожей на шопот, тишиною. В тишине бежали багровые полосы закатных отблесков. Ажурный переплет мостовых ферм резал их на короткие, словно остатки производства, обрезки. В беспорядке и путанно зыбились багряные полосы по воде. Разговор происходил в вечерний предзакатный час. Над нами был мост, и сталь его конструкции едва уловимо кипела тонким горячим гуденьем.

— Здесь я всегда купаюсь, — снова заговорил мой новый знакомец.— Однако место опасное. Течение видите какое, а глубина!

Он томно завел глаза, словно собирался совершенно и навсегда обольстить этим завереньем. Он помолчал, очевидно дожидаясь этого эффекта. Не дождавшись, спросил серьезно:

— А как вы думаете: с моста здесь броситься в воду может человек или нет? Не топиться, конечно, а так, ради отчаянности, чтобы выплыть?

Он смотрел испытующе и сурово. Если бы я поспешил с утвердительным ответом, он наверное бы рассердился.

— Десять сажен здесь до воды от верхних балок, — добавил он убежденно. — С такой высоты и чтобы не расшибиться? А?

Я нерешительно попытался высказать свое сомнение в возможности такого прыжка. Он оживился:

— А прыгнул ведь один человечек. Своими гла-

зами видел, как прыгал. У лошади брюхо лопнуло, как об воду ударилась,— он с лошадью вместе бросался, — а ему хоть бы что: месяц только потом в постели отлеживался. А громадные деньги за этот самый прыжок получил. Он для картины прыгал, картину сюда снимать приезжали, в кино чтоб показывать.

Он рассказал, как по ночам зажигалась степь голубоватым молнийным светом, как фыркали остановившиеся среди нее крытые брезентом грузовики, из грузовиков тянулись, змеясь по земле, тяжелые канаты, в грузовиках фыркали и шумели машины, по канатам бежал к расставленным понад берегом фонарям ток, степь зажигалась синеватым, холодным светом; яркий, как день, он выжигал в ней яйцеобразную плоскую дыру; в кругу света переряженные люди повторяли то, что совершалось на этих берегах четыре года назад; за пределами круга стояли любопытные, и интересным казалось не то, что они уже видели и пережили когда-то, а деловитость и серьезность, с которой кинематографщики заставляли своих переодетых людей проделывать все это. Переряженные махновцами и белыми актеры бегали, стреляли, бросались в воду, тут же выгребали к берегу. Днепр под мертвым светом юпитеров бессонный и черный зыбился однообразной рябью течения. Юпитера только всего и открыли, что и ночью река живет так же, как и днем.

— На мосту они тоже снимали. Только смешно

больно: мост-то еще не был починенным. Вот бегут, бегут, до середины дошли и обратно. Все равно как в реку кидались, дальше полсажени от берега не отплывали. Однако понадобился им такой человек, чтобы с моста в реку бросился. Разумеется, среди ихних актеров такого ни за какие деньги не найдешь. Они в поселок, конечно. Мы, волохи, мы все равно что цыгане, самые отчаянные люди, какие только на земле водятся.

Тут последовал длинный и путаный рассказ, что все живущие в поселке происходят от волохов, которых селила здесь еще Екатерина, что они, эти самые потомки волохов, никогда не были под крепостным правом, что поэтому платили они до революции самой невозможной нищетой за эту сомнительную свободу своих дедов, что зовут их все кругом цыганами, но в сущности они вовсе не цыгане, и только умеют все делать, как цыгане, и даже делают лучше, чем цыгане, что все-таки они беднота, потому что земли никакой у них не было и «за столько лет нельзя было в самую крайность не притти», и вот от всего этого-то они и сделались такими отчаянными.

— Я бы взялся. Я сам прыгнул бы. Только они на меня как-то не попали. А вот Яшка...

Дальше уже следовал настоящий героический эпос. Как будто рассказывал он не о людях, даже не об отчаянных и на все способных волохах. Невероятными по своей гиперболичности становились факты, сказочны поступки, невозможны,

невместимы в действительность препятствия. Яшка вместе с лошадью бросался с десятисаженной высоты, у лошади лопнуло от удара брюхо, и как оно лопалось, даже на мосту слышно было. Яшку целых пять минут не было видно под водой, всплыл он «вон где, вон у того островочка». Всплыл, выбрался и так на песке и пролежал ровно-ровно целые сутки. Встал, почесался и пошел как ни в чем не бывало. «Только об всей этой истории вспомнить не мог, словно во сне все это видел. Однако получить с кинематографщиков деньги не забыл и получил их аккуратно». Дальше уже и рассказчик делается активно действующим лицом. Месяц Яшка лежит в постели, и месяц пьют они самогон, потому что «денег девать было некуда». Как боги или былинные герои, они не едят и не спят этот месяц, только пьют и совершенно изнывают от восторга и радости, что даже из таких бессмысленно-несерьезных людей, как кинематографщики, отчаянный волох может извлечь настоящие чудеса. А чудеса есть; они существуют, они продолжаются, самогон неиссякаем, им некому завидовать, наоборот, все завидуют им, в жизни вдруг обрелось что-то, по «самому настоящему» интересное.

— А эти,— от презрения он не находит даже нужным пояснить, кто именно «эти»,— на мосту и по берегу совсем настоящее строительство развели. И стали мы с Яшкой спорить: не может поезд через мост, как они заплатку поставят, прой-

ти, потому не так-то это просто было в свое время сделано. Он говорит: «может». Я: «нет».

Так, должно быть, требовал стиль эпической героики, чтобы спорщики ставили в заклад по четверти самогона, чтобы ждать прохода этого первого поезда садились они здесь на узенькой песчаной косе, на которой сейчас сидим мы; чтобы от пафоса ли рассказчика или от самогона качались и гудели стальные фермы, выгибалась, будто это не сталь, а канаты, черная, позолоченная солнцем арка. Поезд прошел с гуденьем и шумом. Наверху кричали ура, они кричали тоже. Их никто не слышал. На мосту играла музыка.

— Ну вот и выходит — опять я ошибся. До чего все пустяковым сделалось! Незачем было и тому чудаку стреляться.

— Какому?

— Да этому инженеру-то. Который в первый раз его не достроил.

Он зевнул. Потягиваясь, поднялся с песка. У него был равнодушный, может быть, чуть-чуть пристыженный вид актера, исполнившего весь свой репертуар.

О трагической гибели неудачного строителя моста мне уже рассказывали сегодня. Впрочем, разве это можно назвать рассказом? Тому, первому рассказчику не было известно даже его имя. Вероятно не знал его и этот. Мир, который так непохоже, различно ощущался и виделся каждому из них, не мирился с памятью о безумце, оста-

вившем жизнь, добровольно покинувшем ее, ничем и никак не запечатлев себя в ней. Именно ничем, ибо неосуществеленное, несделанное им сумели без особых трудностей осуществить и сделать другие. Такой простой казалась теперь неодоленная им задача, что было бы непонятно, почему может сохраниться память о нем, безумце, покончившем с собою от ее неразрешимости. В самом деле — мост, высоко над уровнем реки перебросившийся с берега на берег стальною, в один пролет аркою, ни для кого не мог казаться чудом. Обычен был его материал: сталь и гранит; не было ничего необычного и в конструкции. Зачем и почему нужно было стреляться этому безумцу, когда не оправдался всего один из его расчетов, когда осуществимость постройки еще ничем и никак не была поставлена под сомнение? Нет, прав, тысячу раз прав мой иронический волох, назвавший его чудаком. Он действительно чудак.

Отдаленная временем смерть человека вообще перестает потрясать воображение, а тут, в свете такой неусвояемой, почти бесследно изглаженной временем причинности она не сделала для моего собеседника этого человека ни более значительным, ни более интересным, чем сорванная и брошенная травинка.

Именно травинку, которую он до того лениво покусывал, он и отбросил досадливым жестом, сказав:

— Говорят, что от этой неудачи он и застрелился тут же на постройке.

Это было утром, еще до того, как взыскующий «интересного» волох наболтал мне всякого вздору, так или иначе связываемого им с мостом. Разговор происходил на острове Хортице, бывшем когда-то центром Запорожской Сечи, ныне местом сооружения громадного мостового перехода через Днепр, через оба его рукава.

Голый, без всякой растительности, без единого деревца, песчаный, поднявшийся из воды горб, как покровом, был накрыт распаленным июльским зноем, горьким полынным запахом, щекочущим ноздри, как пыль. День переполнялся тишиной. Такой тишины, такого, словно сросшегося с нею, ее не тревожащего стрекотанья кузнечиков не в состоянии истребить даже грохоты электрических лебедок и кранов. Многотонные грузы, которые они перетаскивали по стальному канату через реку, добирались сюда словно осторожный пловец, не расплескивая застылой тишины. На острове, обросший лесами, возводился береговой устой будущего моста, из воды по линии кабельного крана поднимались разделенные равными промежутками каменные башенки его будущих опор. Через реку по крану переползали мешки с цементом и песком, деревянные люльки с раздробленным камнем. Если бы не цвета, палящие и золотые, это было бы, как в кинематографе: вещи двигались, росли, увеличивались в размерах, на-

плывали и исчезали, и, не расплеснутая, не потревоженная ими, стояла в ушах однообразная трель стрекотанья неугомонных кузнечиков.

Мой спутник — инженер рассказывал мне, как выросли эти торчащие из воды опоры, как растут они вообще, как возводятся устои на материке, но рассказывал лениво, как бы даже неохотно. Слишком уж несложными и неинтересными должны были, по его мнению, показаться работы по сооружению мостового перехода через реку после всего того, что он показал мне там на берегу, где дымили экскаваторы, где грохотали взрывы, где человек врывался, рыл самое ложе могучей реки, чтобы построить преграду ее течению. Здесь что же? Просто, как в арифметическом задачнике: бассейн наполняется через трубы А и Б, через А в час вливается столько-то ведер, через Б столько-то... Где же здесь место для пафоса?! Устои требуют столько-то кубофутов бута, камня и цемента, столько-то нужно песку для перемычек, столько-то, чтобы положить основания опор. Столько-то кубофутов материала, столько-то рабочих единиц-часов, и ровно в тот день, в который должны прибыть из-за границы заказанные там металлические фермы, вырастут быки и устои, точно, день в день, будет готов мост.

— В сроках до сих пор ошибок не случалось,— он улыбнулся.— Думаю не будет их и в дальнейшем.

В его улыбке не было и тени торжественного

хвастовства. Слишком уж просто. Слишком проста эта задача в том огромном и хитроумном задачнике, который называется Государственным Днепровским Строительством. Восторги строителя, грустящего уже сейчас, что с возведением плотины им всем не так-то будет легко найти работу по себе: «ведь мы привыкли к таким масштабам и размаху в работе, которые вряд ли скоро повторятся»,— таким вещам его восторги принадлежать не могли.

— Вон там,— он скучливо показал рукою на правый проток,— там каменных опор не будет, там арочный в один пролет. Возможно, перенесут старый кичкасский. Ведь с окончанием плотины вода поднимется до уровня верхней его эстакады, его все равно нужно будет разбирать.

На горизонте, как типографская виньетка, отпечатан на голубом украинском небе ажурный свод старого моста. Десятисаженные скалы его устоев, обделанные гранитом, клали на воду темную тень. Из узкого прохода, образованного ими, как толпа из тесных ворот, вырывался Днепр, просторной гладью разливался между изрытых взрывами, заваленных строительными материалами берегов.

— Вообще это довольно редко встречающаяся сама по себе форма,— говорил между тем инженер.— Однопролетные мосты большого протяжения встречаются не так уж часто. А этот ко всему еще оказался и достаточно прочно связанным.

В двадцатом году его пытались взорвать, взрыв прорвал только середину, своды удержались. Потом, как видите, его удалось восстановить. Не скрепленные друг с другом своды продержались и оставались устойчивыми в течение чуть ли не целого пятилетия. Все это дает основания не пренебрегать такой конструкцией: возможно, ее и не разберут на лом, а перенесут сюда целиком, чтобы установить над правым протоком.

— Значит, и сейчас такая конструкция представляется своего рода техническим достижением?

— Сейчас, конечно, нет. Но тогда, если хотите, тогда это было достижением.

Происходило все это каких-нибудь двадцать — двадцать пять лет назад, но он говорил об этом так, будто нас отделяла целая эра. Как добросовестный археолог, он строит рассказ только на фактах, с достоверностью подтверждаемых материальными осколками исчезнувшего быта, извлеченными из раскопок. Вообразить, нарисовать целиком картину происходившего — дело уже его слушателей. Впрочем, вряд ли ему казалось необходимым такое широкое представление. Слишком уж все было просто.

Увеличивающаяся год от года добыча угля и других ископаемых в районе, соседнем с этим, настойчиво требовала кратчайшей, по прямой, связи с железнодорожным узлом. Руда и уголь не могли уже больше кружить по единственной магистрали Южных железных дорог, на которую

до сих пор район опирался. Кратчайшая дорога должна была пересекаться Днепром. Природа сама указала место. Невысокие, оканчивающиеся низким обрывом берега только здесь поднимались крутыми, близко сходившимися скалами, только здесь сходились так близко один к другому, чтобы потом опять далеко разбежаться в стороны.

Будущий мост должен был переброситься на десятисаженной высоте с одной скалы на другую; под ним далеко внизу будет бурлить прорывающийся всей своей массой через узкие ворота Днепр; по нему с грохотом будут проноситься поезда, доставляя в промышленные районы руду и уголь.

Но... сооружение моста на такой высокой отметке, глубина и стремительность течения реки в этом месте требовали колоссальных подсобных сооружений. Строительное искусство того времени еще не умело легко и просто разрешать такие затруднения. Руда и уголь настойчиво требовали себе прямого пути. В высоких учреждениях различных ведомств спорили и опровергали друг друга проекты, один сложнее другого. Ведомства тоже спорили друг с другом, торговались, дрожа за свои кошельки. Начатым работам по прокладке новой железнодорожной магистрали грозила опасность быть прекращенными. И вот тогда-то и появился в одном из спорящих ведомств некий молодой инженер. Появился он с проектом, над которым, как и над

любым тогда проектом молодого и неизвестного, только смеялись. Энтузиазмом ли молодости или чем другим преодолел этот безвестный инженер снисходительные смешки и департаментскую косность, мой собеседник мне не открыл. Впрочем, вряд ли это было известно и ему самому, и вряд ли это его интересовало. Проект был утопичен, он предлагал метод, доселе никем и нигде не применявшийся. Заключался он в том, что на обоих берегах, на площадках возведенных устоев устанавливаются деревянные поворотные круги; на этих кругах закрепляются с разных сторон подвезенные к месту постройки половины стальной конструкции моста; круги вращают вручную, и когда половины моста, как две протянутые над рекой руки, сойдутся одна с другою и выступы одной попадут в пазы другой, конструкция станет одним целым; по ней, готовой разорваться в любую минуту, проберутся до середины клепальщики и закрепят соединение уже навсегда. Все было сделано, как предлагал проект, и...

— ...Они не соединились.

Рассказчик вынул изо рта травинку, которую он до того лениво покусывал.

— Вот тогда-то, говорят, он и застрелился от такой неудачи здесь же на постройке.

Он досадливым жестом, каким отмахиваются от жужжащего над головой комара, отбросил травинку.

— Два года спустя мост построили уже без

всяких фокусов, с обыкновенным деревянным подмостьем. Как видите, результат оказался не таким плачевным.

Я не понял, что его радует: неудача ли того безумца, жизнью заплатившего за свою неуместившуюся в мире мечту, или успех, верный, вернейшей успех предприятия, осуществленного по-старинке.

Я спросил:

— И это все?

— Что все?

— Все, что вам известно о том инженере?

Он как будто даже удивился вопросу.

Мир его был просторен и светел, как чертежная зала, и вещи приходили в него, как в музей, и, как в музее, проста и прямолинейна была их судьба. На какое же место мог претендовать в этом просторном мире какой-то непонятный человек с темной судьбою, выстрелом или вскриком оборвавшейся под сводами недостроенного моста?

Мы вдвоем раскопали становище давно и бесследно исчезнувшей эпохи. Среди обломков и черепков, чему-то поучавших, вот эта истлевшая, готовая каждую минуту обратиться в прах тряпка — судьба. Можно ли расстаться с нею, не попытавшись прочесть хоть что-нибудь в ее расползающейся ткани? Я пояснил вопрос:

— Ну вот хотя бы его идея. Разве это не ин-

тересно? Чём-то он сумел доказать ее осуществимость.

— Но она осталась не воплощенной. Я не знаю, но вряд ли и вообще-то она стоила того, чтобы ее нужно было пытаться воплощать.

Ни презрения, ни насмешки не уловил я в этих словах. Казалось, он говорил о чем-то таком детском и несерьезном, что и не может вызвать иного отношения со стороны взрослых. Тогда я по-другому попытался вызвать его на признание:

— Ну, а право на песню? Может, эти круги и представлялись ему песнею, которую ему выпало спеть в этой жизни?

Он покачал головой, усмехнулся.

— Не думаю... Впрочем, где же эта песня?

Я и не думал даже глазами указывать на мост, набросивший свод на днепровские ворота, но его мир, должно быть, принимал и такие ошибки.

— Вероятнее, что его все-таки разберут на лом. Какая же тут песня? — сказал он глухо, и я тогда впервые уловил в его словах насмешку.

— Но разве право на песню только за теми, кто может и знает, что споет ее до конца? Разве рвущийся спеть и еще не вымолвивший слова не смеет претендовать на такое же право? Разве такому мы должны отказать даже в памяти?

Он посмотрел на меня даже как будто с неприязнью, словно досадуя на эту пытливость.

Кругом пышно и утомляюще цвел знойный

день. Осторожные,— они казались осторожными,— лязганья и грохоты лебедок едва расплескивали изнемогающую тишину. Через реку ползли по канату грузно обвисавшие мешки и почти касавшиеся воды люльки. На опорах на реке порой вырастала груда камней, вокруг нее суетливо начинали копошиться люди, куча быстро исчезала, и опять ползла над рекою в перестоявшейся тишине пустая деревянная люлька. На реке строили мост.

Мой собеседник все еще продолжал смотреть на меня почти что с досадливым испугом. И мне уже начинало казаться, что вот в этом светлом мире, который какая-то невольная ассоциация представила мне таким же просторным и светлым, как виденная там, на строительстве, чертежная зала, и таким же, как и она, свободным от лишних и сторонних вещей,— что в этом просторном по-деловому и по-необходимому мире, в мире, где судьба у вещей ясна и прямолинейна, как в музее, в этом мире тоже тьма и беспорядок. Но это только показалось. Он уже говорил:

— Тогда, должно быть, я не понимаю, что значит песня. Днепрострой — это песня или нет?

За этим вопросом — он знает — не последует отрицания; он не делает паузы,— он задавал его только риторически,— не останавливаясь, он продолжает. Он говорит горячо.

— Но кому принадлежит эта песня? Кто певец?! Если икс, игрек или зет и зовется автором

Днепростроя, разве и в самом деле он его творец?! Если такому иксу или игреку и запретить работать на строительстве, отшвырнуть, как негодный, его проект, отнять, как вы говорите, право на песню, разве он станет героем от того, что пустит себе в лоб пулю? Или как? Боролся за это самое право? Но право-то у кого? Не его ж это песня. Вы понимаете, что это не риторика: певец Днепростроя, его автор — вся советская страна. Вы все настаиваете — песня. А ведь это и есть песня. Вот я — я знаю, что и моя есть здесь капля,— он широким жестом показал туда, где за бурлящим, изгороженным перемычками Днепром поднимался заселенный строительством берег.— Но разе я ищу эту каплю, разве мое счастье и призвание только в том, чтобы она не смешалась с другими, не затерялась?.. Пусть затеряется. Я работаю,— я вам говорил, что здесь нам открылись такие масштабы и такой размах, что после нам трудно будет найти себе применение,— так вот в такой работе, которая одним своим размахом способна растворить не только человека, а тысячи таких же, я и вижу эту самую, как вы говорите, песню...

Вдруг он остановился, деловито взглянул на часы.

— Заболтались мы с вами. А ведь сегодня мы собирались проехать на левый берег. Это интереснее мостового перехода.

Я молча кивнул головой.

Вдали, там, где воды Днепра, освобожденные от беспорядка перемычек, лесов на возводящихся бычках, казались более спокойными, там прохладную тень клали на него две скалы. Маленький, словно игрушечный, словно из прутьев сплетенный мостик венчал их вершины. Мне пришло в голову, что если его не уберут раньше, чем поднимется перед плотиной вода, она его снесет, как соломинку. И еще я подумал:

«Что, если тот безвестный строитель, выстрелом столкнувший себя в пропасть (мне почему-то казалось, что он обязательно должен был стрелять в себя, стоя над пропастью), что, если бы он смог тогда позавидовать пафосу моего собеседника?»

Только к чему? Все равно мы даже разговором не возвращаемся больше к безымянному самоубийце.

Но в мой мир вещи, очевидно, не приходят, как в музей. Именно об этом я и подумал много позднее, уже расставшись с моим спутником, уже забывая или почти забыв наш разговор о мосте и его первом строителе.

Вечер принес мне встречу с суматошным волохом.

Делались лиловыми степные дали. Только на западе тяжелым блеском тускнеющей и красной меди горело небо. Красные полосы пробегали по воде, неровным отрывающимся сиянием вымывались из узкого прохода под мостом. С этой стороны его царил уже полумрак, и от

реки несло холодом. И, конечно, почувствовав его, вы вздрагиваете, потому что вода начинает вам казаться враждебной и страшной, и, конечно, труднее всего тогда решиться окунуться в нее даже на мгновение, и, конечно, только ребятишки и могут в такой час ляскать зубами, но все же купаться. Они и купались. Правда, их было не так уж много.

На песчаный откос уже ложились темные и тяжелые тени. Предметы начинали менять свои видимые формы. Должно быть, поэтому единственный, кроме меня, взрослый человек, оказавшийся на берегу, показался мне таким длинным, каких не бывает в жизни.

Человек сидел на песке. Я заметил валявшиеся около снятые ботинки. Расстегнута была на нем и толстовка. Неужели он думал купаться?

Как бы и не обращаясь ни к кому, он сказал:

— В это время купаться нельзя: лихорадку захватить можно.—Голос у него был хриплый и низкий. Он повернул голову в мою сторону, рассматривал прилежно и настойчиво. — Вы купаться думаете, гражданин? Не советую.

Что я думал? Не купаться же в самом деле я пришел сюда.

Вода еще играла закатными отблесками; теплый и душный, как человечье дыхание, порой спускался со степи ветер. Пахло сыростью и чуть-чуть смолою. Человек ясно желал вступить в бе-

седу. Глупо — стоять и молчать.

— А вы как же? Не боитесь? — спросил в свою очередь и я.

Он даже вскочил с земли.

— Я! Я ничего не боюсь. Меня никакая хворь никогда не возьмет. Я заговоренный...

И он захохотал, хрипло и страшно. Он так махал руками, что можно было подумать, что он замерз. Но нет, вдруг он проворно стянул с себя толстовку. Под ней оказалось загорелое, с выпуклыми, как на анатомическом муляже, мышцами тело. Он еще раз широко взмахнул руками и снова бросился на землю.

— Папиросочки у вас, гражданин, не найдется? — попросил он с земли.

Я дал папиросу.

И предложенная, и выпрошенная папироса одинаково обязывают к беседе. Мне суждено было услышать, какой он замечательный, этот заговоренный человек. У него и самый сырой лозняк разгорается в печке сразу, у него и рука такая, что стоит только ладонь самой норовистой лошади к шее приложить, она вмиг как ягненок делается: он и кует так, что его подковы — не то что не потеряются,— силой не оторвешь. И еще много разных других вещей он мог и умел делать так замечательно, как никто.

— Вот людей лечить тоже могу.

Тут он почему-то сорвался. Потом опять, перескакивая с одного на другое, рассказал о том,

как взрывали мост махновцы, как выплывшая корова сделала его богачом, как прыгал в воду с моста Яшка; разом сорвался опять, словно пытаясь оправдать или осмыслить все свои рассказы, поспешно вставил, что все они, живущие в поселке, беднота, потому что земли никакой у них не было и «за столько лет нельзя было в самую крайность не притти»...

— ...А на этом берегу, вот где мы с вами сейчас находимся, где сейчас электрическую станцию строят, здесь немцы жили, одно сплошное богатство...

Он очень старательно перечислил, какие именно немцы чем здесь владели, какие были у них элеваторы, мельницы, мастерские. Вдруг опять спохватился.

— Вот для электрической станции плотину через весь Днепр строят, эту вот всю местность водой зальет. Скажите, какая жалость, что немцев-то тех уже нету! Потопить бы их, гадов, так, чтобы со всем своим добром под водою и сгибнули. А плотину построят. Отчего не построить, раз такие огромные деньги отпущены...

На минуту он смолк. Мысль его снова очевидно проделывала какой-то невероятный пируэт.

— Я и людей лечить могу. Любую хворь отведу, верно вам говорю. Вот мост этот...

Я вздрогнул. Ах, вот зачем я пришел сюда, о чем думал!

— Так что этот мост?

— Это он теперь таким пустяковым выглядит. А раньше сколько народу себе головы поломало, как его выстроить: все ученейшая публика, инженеры. А вот не был бы я тогда совсем еще несмышленым мальчонкой, его бы лет на семь раньше выстроили.

Если б он видел мою усмешку, он не отнес бы ее к себе, так горько она должна была выглядеть. Так вот она песня!

Он ждал вопроса, ждал моего нетерпеливого любопытства. Я молчал. Нет, не может быть, чтобы его память хранила только перечень собственных чудесных свойств, фамилии немцев или подвиги Яшки. Ведь это тоже было на мосту или около моста. Конечно он расскажет и о «неинтересном». Я не ошибся.

Он продолжал:

— Чудак один его строить взялся наконец. Колеса деревянные, как к конной молотилке, по его планам понаделали. Половинки моста на них он поворачивать хотел, чтоб они сами над рекой сцепились...

С поспешностью, будто все самое главное было ясно, оставались только детали, он словно перечислял:

— Матка моя белье ему стирать ходила, инженеру этому. Он у нас на поселке квартиру снимал. Ячмень у него на глазу вскочил. Она приходит как-то к нему утром. Он рано очень на постройку уходил. Приходит, а он уже совсем

готовый и в картузе, только стоит на пороге и ровно на солнце смотрит или задумался. Она и подумай — самый этот случай подходящий, чтоб ему в глаз плюнуть. Потому, что при ячмене плевать в глаза надо, чтоб для человека это совсем внезапно и нечаянно выходило. Но только она зря. Я бы не плюнул: нельзя плевать перед человеком, когда он на дело идет. И плевать — понимать тоже надо.

Он расхохотался, и может быть долго еще покатывался бы веселым и сиплым смехом, но смех разбился о жесткий, требующий вопрос:

— Дальше-то что?

— Матка рассказывает — вот он стоит, вот она стоит, ловчится, как ему в глаз попасть. А он вдруг как шагнет, да громко так, словно вздохнул, «не надо» — грит. Она и плюнула. В этот же день он и порешил себя. Половинки-то, как их поворачивать стали, одна мимо другой проскочили. В этот момент он себе в висок и бабахнул.

Только одно это «не надо» и ухватила жадная память из рассказа. Может, оно было только бессмысленной, ненужной и неожиданной находкой, может, как находка, только привлекло на миг внимание, это «не надо». Или нет: это человек с болью кричал тому неизвестному, что отнимет у него солнце и радость и день, кричал, потому что знал — не сойдутся, повалятся набок половинки, и ему, ему одному их не поднять.

Речная лощина уже наполнилась темнотою и

сыростью. С реки исчезли кровавые полосы заката; черные, как нефть, воды переливались едва заметной игрой. «Заговоренный» лекарь торопился докончить рассказ:

— Его и доктор как потрошил, я видел. Потом его и хоронили тут же, потому как у него никаких родственников не оказалось. А впрочем, что хоронили, самоубивц разве хоронят? Вон в степи около кладбища зарыли. И могилы никто не знает, только я один еще показать приблизительно могу.

Я не сказал, я повторил про себя «не надо», но должно быть это вырвалось вслух, и он удивленно остановился.

— Чего не надо?

— Нет, ничего, — вероятно, у меня был смущенный голос. — Пора итти, сыро у воды делается.

— Верно, сыро. Ну, бывайте здоровы. Спасибо за табачок.

Что мне сказать ему? Тоже спасибо? Мой просторный, но не светлый мир, где совсем не как в музее собраны и сошлись вещи, примет, конечно, и его. И он, принесший мне из темной судьбы этого безымянного самоубийцы одно только короткое «не надо», не затеряется, не пропадет в нем.

Тогда почему же, словно от опасного места, словно от какой-то карауливший погибели, я так

поспешно стремился уйти с песчаной полоски под мостом?

Там,— а впрочем я это знал и раньше,— там, в том мире, о котором мне говорил мой дневной собеседник—инженер, там нет, и в него никакая сила не втиснет этого короткого и отчаянного, как крик судьбы, «не надо».

Москва.
Апрель 1930 г.

БАЛАХНА

1. ПОЕЗД КАК ВСТУПЛЕНИЕ

Балахна. Конечный пункт Сормовской железнодорожной ветки или, — как ее именуют вензелевые обозначения на вагонах, — «Сормовского подъездного пути». Малоприглядное станционное строение, грязный перрон, не слишком обильное скопление порожняка на запасных путях и скудный уездный пейзаж вместо фона. Из зелени назойливо торчит неизбежная белая колокольня; застилающий горизонт хребтик облепили серые одноэтажные домики; дорога к ним доплетается среди унылых картофельных полей. Что можно здесь заметить определяющего местонахождение большого строительства?! Что здесь от горячки обгоняющих самих себя трудовых будней?! Почему, наконец, название этого захудалого провинциального городка стало синонимом строящегося, уже выстроенного, уже работающего гиганта бумажной промышленности?! Непонятно. Однако все это разъясняется довольно скоро.

Та Балахна, которая стала еще одним синонимом победы строящей социализм страны, Балах-

на, производительной мощностью занявшая первое в союзной, второе в европейской и четвертое в мировой бумажной промышленности место,— эта Балахна находится совсем не в Балахне.

К товарному составу прицепили два пассажирских вагона. Составитель в замасленном рабочем платье, он же кондуктор, он же начальник поезда,— по крайней мере, в вагоне его просили: «Товарищ начальник, на подъеме ход задержите маленечко».— «Ладно. Задержим»,— начальник поезда, как в трамвае, обошел вагоны.

— Граждане, возьмите билеты.

И билеты совсем, как трамвайные. Напечатано на них: «Ж.-д. ветка ЦБТ. Билет на проезд Балахна — Курза». ЦБТ — это Центробумтрест, ныне уже не существующий, зачинатель и бывший хозяин Волжского бумажного строительства. Курза — это название приволжской деревни, пять-шесть лет назад только и бывшей, что деревней, а теперь... Впрочем, о том, что представляет собою Курза теперь, об этом потом, сейчас о поезде.

Так уже заведено, что каждый, даже производственный, даже совсем современный очерк должен начинаться с поезда, с парохода, с почтовой тележки, с тарантаса. Сюжетные построения, освященные полуторавековой традицией, неистребимы. В том, что ждет путешественника, ориентировал обычно, как правило, извозчик, сосед по

вагону, случайный попутчик. В сроки сегодняшних поездок, в размеры газетных очерков-отчетов не укладываются эпические повествования спутников. Бездельников-старожил, которым ничего и не уделено, кроме как рассказывать, не только не встретишь, но их нельзя и выдумать. Знакомство с объектом описания осуществляется теперь иным путем. Организуют внимание, подготовляют к восприятию вещи, факты.

В поезде «Сормовского подъездного пути», в составе из дряхлых, давно выслуживших свой срок вагонов набито, как во времена гражданской войны. Поезд призван обслуживать рабочих Красного Сормова. Ежедневно не одна сотня их едет на завод и с завода в поселки и деревушки, разбросанные в десяти, пятнадцати, тридцати верстах, а ходит этот поезд так часто, что, опоздав к одному, нужно, по крайней мере, четыре часа ждать следующего, и ходит с такой быстротой, что пассажиры без всякого риска могут соскакивать на ходу. И это в дни жестокой борьбы с потерями! В дни наступательных боев за ударные большевистские темпы! Сколько тысяч часов заслуженного трудового отдыха бесцельно пожирает каждый день черепашьим ходом своим поезд?! Во сколько раз понижает он ежедневно трудовую зарядку вступающей на работу смены?!

В вагоне вступающая смена — от Канавина — досыпала недоспанные минуты, сменяющаяся — от Сормова—с боя разбирала верхние полки,

располагаясь спать. Пыльный вагон снова забивался духотой и людьми. На нижней полке примостившиеся люди вытащили засаленные карты. Кто-то, свисая с верхней полки, развернул газету. Внизу, читая ее с изнанки, воскликнули: «Смотрите-ка, ребятки!» Над фото, изображающим спящего человека, жирная надпись: «Сормовичи, вот ваш позор». Подпись под рисунком разъясняла: «Те, которые срывают промфинплан. Машинист нефтекачки, спящий на дежурстве».

Позор или не позор? Преступление или «так и должно быть»? Странным, до неловкости, может, неуяснимым покажется в пересказе, что по такому поводу завязался спор. Но право на сон ожидающего подхода следующего паровоза машиниста аргументировалось поездом, в котором пребывали спорщики, который терпеливо ждал подходивших ли пассажиров или чего другого. Аргумент не очень веский, но «крыть его», как говорится, нечем.

К Балахне поезд подошел уже значительно опустевшим, в закатную золотившуюся пыль ушли последние пассажиры-сормовичи; в Курзу, на бумажную фабрику едут немногие. Здесь расстояние всего шесть километров, но и эти шесть километров поезд ЦБТ одолевает чуть ли не целый час. Курза, поселок Бумстроя и Балахнинского бумкомбината, начинается возле самого полотна, или, вернее, железная дорога проходит по самому поселку. Поселок, как и полагается быть поселку

при крупном промышленном строительстве,— с широкими, по линейке вытянувшимися улицами, с неокрепшей еще порослью молодых древесных насаждений, с аккуратными, стандартного типа домиками, со стадионом и трибунами в духе стандартизовавшегося тоже провинциального конструктивизма. Поселок носит название Балахнинского бумажного строительства. К концу пятилетки оно должно стать первым в Европе. Воля перестраивающейся страны вооружила это строительство последними достижениями техники. Стаккеры, как руки, вскинувшиеся выше балахнинских колоколен, руки, из которых днем и ночью щедро сыплются дрова; дефибреры, буквально на глазах пережевывающие эти бревна в древесную массу, похожую на недоваренную манную кашу; слешера, бревно за бревном без устали режущие равномерные куски «баланса»; стальные и резиновые ленты конвейеров, разносящие по фабрике из отдела в отдел этот «баланс» и мелко нарубленную щепу; чудовищной высоты турмы и котлы величиною с шестиэтажный дом— все они порождены наступающим этими машинами, наступающим волей восходящего класса социализмом. Они уводят в будущее, а вот поселок — расселение огромного рабочего коллектива комбината — совсем не в будущее, а в прошлое,— ибо кажется он возникшим от неважных традиций русского уездного захолустья, пропитавшимся бытом уездного русского городка.

Правда, уездному русскому городку не был знаком этот архитектурный стиль стандартных деревянных домиков; правда, так геометрически строго не планировались в таких городках улицы и площади, но так, как в тех, у калиток поставлены лавочки специально для вечеровой обывательской беседы, так же, как и в тех, словно военное судно флажками, разукрашены здесь палисадники сушащимся на веревках бельем. Чадно и грязно в неуютной и тесной, как захудалый трактир, кооперативной столовой, клуб неуютен и несерьезен, как летний провинциальный театр, и, словно вступая в дерзкий спор с конвейерами, в одно целое вяжущими усилия отдельных бригад, отделов, цехов, собственнически разгорожены деревянными изгородями палисадники новых двухквартирных блокированных домов.

Фабрика, обладающая оборудованием, по техническому совершенству и масштабам далеко обогнала не только наше, но и западное сегодня, а поселок при ней только что планировкой улиц отличается от примостившейся под боком тесовой, почерневшей и покосившейся Курзы. На бумажных машинах достигнуты и освоены эксплоатационные скорости, неизвестные даже Америке, а со всем прочим миром творцы этих скоростей обречены сообщаться железной дорогой, чуть ли не такой же, как в «Нашем гостеприимстве» Бэстера Китона. Фабричная печатная газета мужественно борется с отсталостью, скудностью, убожеством и

невежеством, прочно внедрившимися в быт поселка, и та же фабричная газета сообщает о чудесах героизма, о подвигах, о таких проявлениях рабочего энтузиазма, которые не могут не поражать. Энтузиасты, зовущие к штурмам времени и темпов, рабкоры, производственным пафосом заражающие бесстрастные строчки газетного набора, с такой же горячностью должны писать и о мещанской, засасывающей склоке коммунального рабочего домика, и о хулиганстве и мате, и о культурно никак не обставленном рабочем отдыхе, и о грязи, вони общежитий, и о недостатке деревянных ложек в столовой. Словом: у «Большой Балахны» — так по-местному называется еще комбинат—остается и живет стародавний враг, тесовая, покосившаяся Курза.

2. ПОБЕДА ПАРОСИЛОВОЙ

На Балахнинской бумфабрике тяжелым долгом перед страной лежат тонны прорыва. День и ночь бумажные гиганты, машины, германская Фойта и американская Беглей и Сьюл сматывают на роли бесконечное полотно газетной бумаги. Фабричное руководство, треугольник, лучшие представители рабочего коллектива, энтузиасты-ударники напрягают все силы, все нервы вкладывают в то, чтобы поднять их продуктивность. Машины уже смогли, — это доказано практикой,— обогнать технически эксплоатационные сроки, известные Западной Европе. Но этого мало. Стране не

меньше чем хлеб нужна газетная бумага, хлеб ее культурной революции. Фабрика должна не только бесперебойно выпускать свою продукцию, — а ее производительность и рассчитана примерно на 55% общей потребности в бумаге Советского союза, — фабрика должна еще и покрыть свой долг перед страной, залечить рану прорыва. Ни одной минуты простоя, ни одной неиспользованной возможности повысить, увеличить продуктивность машин; они должны работать даже тогда, когда в сущности они и не могут, не должны этого делать. Необходимость останавливать их, срезать рабочее время, неизбежна. На машинах через определенные сроки должны меняться сетки и сукна, машины не могут обходиться без периодической и полной чистки, время от времени нужно чистить котлы паросиловой. На Западе для этого существуют в рабочей неделе воскресенья, дни регулярно повторяющейся остановки всего производства; у нас — непрерывка, состоящая из непрерывных рабочих суток. Нужно сохранить ее действительно производственной непрерывкой, даже когда и будут выключены отдельные агрегаты этого производства.

Паросиловая — участок не менее ответственный в фабричном хозяйстве, чем Лесная биржа или Древомассный отдел. Если последние — кухня, готовящая фабрике пищу, и рот, эту пищу глотающий и жующий, то паросиловая — это легкие фабрики. Это то, что живительным кислородом

наполняет ее организм, питает могучим дыханием. Без этого воздуха не могут работать машины, без пара, как и без баланса (еловое бревно определенного размера, из которого выделывается древесная масса), они не дадут бумаги. Около пятидесяти тонн пара в час должны давать эти легкие фабрике. Легкие — это котлы, огромные, примерно высоты шестиэтажного здания сооружения, в сложных системах тонких труб образующие, перегревающие, конденсирующие необходимый производству пар. Таких котлов на Балахне сейчас — три; при нормальной нагрузке они и дают потребное количество. Четвертого, запасного, который позволял бы на время выключать из работы один из трех, пока еще нет, он только еще монтируется.

Каждые три месяца котлы должны чиститься. Нельзя допускать больше 2 тысяч часов непрерывной работы без риска вывести котел совсем из строя. Нормально, по технически установленным нормам, такая чистка должна занимать время около двух недель, следовательно, на две недели нужно в таком случае отнять у фабрики треть необходимого ей, как жизнь, пара, на две недели в таком случае должна будет прекратить свою производительную жизнь одна из машин.

Можно ли было говорить о такой длительной задержке, о таком простое сейчас, когда на фабрике тяжелым долгом лежат недовыработанные тонны, когда еще никак не залечена рана прорыва?

Впрочем о таком длительном сроке разговор и не поднимался.

— Мы должны были уложиться в трехдневный срок, пока будут чистить американскую машину, — говорит заведующий паросиловым отделом тов. Беляков. — Мы брали самые жесткие сроки. Но...

У Белякова измотанное, посеревшее от бессонницы лицо, у него беспокойные движения и скупая отрывистая речь, как у человека, которого со всех сторон обступили заботы. Но сейчас его глаза загораются горделивой и счастливой усмешкой, он не может не рассказать, он должен рассказать об этом, и как не разгораться счастливой усмешкой его глазам!

Беляков — молодой, совсем молодой инженер, партиец, теснейшими, кровными узами связанный с рабочей массой. От них, от рабочих, от ударников паросиловой был выдвинут встречный план чистки, сжавший и без того тесные сроки ремонта и чистки.

«21 октября в 4 часа выходят обе смены котлочистов для прессовки, осмотра и крепления лючат. Сдача котла должна быть произведена к 6 часам утра», — категорически приказывает план хозяйственников.

«Все работы по чистке, осмотру и текущему ремонту должны быть закончены к 8 часам утра 20 октября», — перебивает его план рабочих, выжимая еще 22 часа экономии.

В рабочем плане 16 пунктов; во всех мелочах,

во всех деталях проработан план организации работ; учтена, использована каждая минута, ибо дорога и минута, ибо из минут составляются часы, часами перекрываются сроки встретившихся планов. За свой план люди решили бороться, именно бороться, потому что только борьбой и осуществляются «встречные» планы. Впрочем, борьба уже в том, что такой план был выдвинут. Но тяжесть ее, конечно, в выполнении принятого обязательства. Нужно одолеть время, оправдать обещание, а главное — примером вдохновить на такие же подвиги других.

«Все внимание паросиловой —
Чистка котла — пункт узловой» —

призывала штурмовка, специально выпущенная бригадой писателей, работавших на прорыве, к моменту чистки котла.

Внимание действительно обращено. Чистка котла — это стало темой дня, о чистке говорят везде и всюду, во всех уголках поселка, повсюду на предприятии. Вокруг чистки руководство сумело мобилизовать сугубое внимание рабочей общественности. Такой порыв должен стать эффективным не только по своему практическому результату, он должен агитировать, возбуждать мужество и порыв в других, он должен быть использован. Ударники паросиловой становятся героями дня и стоят того, чтобы их делали таковыми.

— Ну вот, не выдержим! Пожалуй еще и свои

сроки перекроем,— говорит один из них, кочегар с черным, как у негра, лицом.

Губы, кажущиеся от этой черноты неестественно красными, серьезно напряжены. Голос звучит самоуверенным спокойствием.

Молоденький паренек, тоже ударник, тоже ринувшийся на штурм времени и темпов, убежденно поддакивает:

— Разумеется, свой перекроем: в двое суток, как есть, вычистим.

Самый штурм пока еще не начался. Котел еще стынет. Бесконечная стальная лента, которая протаскивает под ним пылающую щепу, неподвижна. В железном горле элеватора застряла его пища. Инструменты, орудия предстоящего штурма, собраны и готовы. В девять часов должен начаться штурм.

— Выдержат? — обращаемся с испытующим вопросом к Белякову.

— Ну конечно, выдержат, — немедленно и убежденно отвечает он.— Ведь они за каждую минуту спорили. Каждую отдельную операцию и так и сяк по десять раз обсудили.

Утро застает штурм в полном разгаре.

На высоко взмостившихся вокруг котла лесах скрежещуще визжат «шарошки», высверливая нутро прихотливо изогнутых труб. «Шарошка» — это нечто вроде «ерша», которым чистят ламповые стекла, только этот «ерш» сделан из стали, и оснащивают его не щетинки, а зубчатые коле-

сики, вращающиеся на шарнирах. «Шарошка» прикреплена к длинному гибкому валу, соединенному с мотором. Вал глубоко проникает в трубу, со скрежетом и визгом отдирает приставший к ее стенкам нагар. Потом ударник, упираясь ногою, вытаскивает ее из трубы, кучка похожей на самоварную накипь грязи высыпается на доски, подручный котлочист из брандспойта поливает и «шарошку» и трубу, и опять с визгливым скрежетом «шарошка» исчезает в ее недрах.

Рядом чистят, оттирают люки, меняют на них прокладку. Работа кипит. Выше в барабанах (барабаны венчают шестиэтажную систему труб), выше в барабанах, забравшись внутрь их, люди, лежа и на корточках, молотками отбивают нагар. Черные от сажи и грязи лица. Пот размазывает грязь ручьями. Ни минуты перерыва: как в бою, на войне, ни на минуту не оставляя поста, борются здесь, покоряя темпы, ударники.

От действующих, работающих котлов исходит непрерывный гул и нестерпимая жара, гул заглушает визг «шарошек», стук молотков, очищающих нутро барабанов. Нужно кричать в самое ухо, чтобы быть услышанным.

— Себя обгоняем. Первая смена на целый час раньше, чем по плану, трубы вычистила,— кричит мне в ухо ударник, выскочивший из нутра барабана, чтобы взять какой-то инструмент. На выпачканном сажей лице возбужденно и радостно горят глаза.

С трудом узнаем одного из первых энтузиастов паросиловой, одного из застрельщиков «встречного», ударника Кузнецова. Ему ли не радоваться?! Впрочем, так же радостно возбуждены и другие бойцы, ни один не портит фронта: все, как один, плечом к плечу, нога в ногу. Ни время, ни дикий, неистовый труд возле все еще дышащего жаром, никак не желающего остывать котла не гасят этого энтузиазма.

Полночь следующих суток. Через семь-восемь часов должна закончиться чистка. Уже заделываются люки у вычищенных барабанов. «Шарошки» визжат, высверливая последние секции водяных труб. Те же уверенно-деловитые движения, та же четкость и спаянность в работе всей бригады. Тот же порыв и возбуждение, как и в момент приступа к работе. Такие не могут не выйти из борьбы победителями.

Покидаем паросиловую с радостным и взволнованным чувством. Фабричный двор накрыт иссине-черным колпаком октябрьской ночи. Мощное дыхание топок смяло ночную тишину. Бумажный зал, вытянувшийся сплошными стеклянными стенами, залит светом. Мелькают бешено вращающиеся валы, мелькает проносящееся по ним полотно бумаги.

— Как?! Работают уже обе машины?! А как же с паром?! Ведь третий котел еще не вступил в строй?!

В бумажном зале как-то необычно, празднично

выглядят лица рабочих. В бумажном зале весь треугольник в полном составе. Мы уже умеем сразу, без вопросов угадывать природу «производственных» событий.

— Не захотели отстать от паросиловиков, — с довольной улыбкой сообщает нам директор фабрики Болотин. — В три часа пятьдесят пять минут вместо шести сетку сменили.

Вот она, победа ударников паросилового! Их энтузиазм уже переплеснулся, вырвался за стены их собственного цеха. Сеточники не захотели отстать от паросиловиков.

— Но как же все-таки был разрешен вопрос с паром? И со смененными сетками машина должна была бы стоять, потому что котел еще не вступил в строй.

Болотин разъясняет наше недоумение. Это уже достижение руководства, успех командования, но и он вызван порывом ринувшегося в атаку батальона, раньше срока берущего препятствие.

Обе машины не могли работать на том количестве пара, которое дают два котла. Нужно было изыскать возможности сэкономить, уменьшить расход пара, и на этом уменьшенном количестве производить работу.

Пока меняли сетки на машинах, работал целлюлозный завод, запасая в бассейны целлюлозу. Потом, когда сменили сетки, когда машина была готова к пуску, выключили целлюлозный, выключили паровое отопление, турмы — каждая сэко-

номленная, собранная тонна пара была отдана машине. Нервно вскрикнул гудок, завертелась, ожила, наполняя зал ритмическим шумом, машина, пенящаяся лента массы, растекаясь в ширину, побежала по сетке, перекрутилась и завертелась, обегая валы. Еще минута, и каландры уже наматывали готовую бумагу.

В черной октябрьской ночи в паросиловой на лесах светлые точки переносных лампочек. Идет штурм. Рабочий энтузиазм приступом берет высоты, порыв перебрасывается на другие участки фронта, наступление развертывается и растет. Командование не должно, не смеет допустить, чтобы оно захлебнулось. Руководство обязано, должно суметь сделать так, чтобы ни одна капля этого драгоценного порыва не пропала даром.

— Шестьдесят пять тонн все-таки за прошлые сутки выработали, — сообщил на следующее утро, утро победы котлочистов, директор фабрики. — Обе машины работали.

Эти шестьдесят пять тонн смело могут быть названы тоннами рабочего энтузиазма. Но дело не в тоннах, дело в том, что на примере паросиловой обе стороны — и те, кто ведет в бой, и те, кого ведут в бой, и армия, и командование — показали, что они достойны друг друга, дело в том, что порыв ударников-паросиловиков не остался только героическим подвигом отдельных героев, отдельных энтузиастов, он захватил, увлек за собой и других. Штурм времени, штурм темпов —

стал реальным объектом соревнования. За паросиловиками, раньше еще, чем взяли они препятствие,— сеточники, обогнавшие плановые предположения, за сеточниками — кислотчики, сумевшие сварить котел целлюлозы за 12 часов, то есть на целых 6 часов сократив положенный для этого срок.

— Во что бы то ни стало сохранить достигнутые темпы,— таково общее резюме всех разговоров, которые можно было слышать на другой день после победы котлочистов.

И это, конечно, не менее ценно, не менее действенно и дорого, чем тот порыв, который срывает массы на штурм.

Один из кочегаров паросиловой, тов. Маркелов, даже затруднился, например, сказать, что было такого необыкновенного, чем отличалась эта ударная чистка котла от повседневной обычной работы:

— Как рабочий человек, привыкший, я ничего не представляю, чтобы проработать так. Нужно было — и работал, и всегда буду работать.

Не в этом ли вскрывается подлинное содержание того орудия героической борьбы завоевывающего будущее класса, которое носит наименование **рабочего энтузиазма**?

3. ЛЮДИ ВСТУПАЮТ В РАССКАЗ

— Значит фотография? Тогда все просто.

А если очерк — вовсе не низкий жанр, если он

равноценен и равнозаконен рассказу, повести, как тогда? Как быть, если живой объект не заключает, не носит в себе достаточно резких черт, чтобы стать литературно выпуклым характером? Как быть в таком случае? Неужели такому тусклому объекту нельзя их добавить? Или наоборот: как быть с лишней, портящей весь композиционный замысел чертой?

Некий автор написал неплохой очерк о совхозе, не назвав его по имени. В очерке описывались некоторые достижения, которые имели место в каком-то определенном совхозе, посещенном автором. Вокруг этих достижений совершенно естественно в жизни происходили столкновения воль, характеров по разному осознающих себя человеческих индивидуумов. Для живости изображения автор сохранил какие-то физические внешние черты живых людей. Кажется, он даже назвал их настоящими фамилиями. И вот эти-то живые люди и явились в редакцию заявить свое возмущение и протест против такого их «посрамления».

Бальзак так писал портреты, что оригиналы их, поражаясь глубинности его сердцеведения, не узнавали в них самих себя. Толстой населил «Войну и мир» неумирающими, до сих пор живыми по их органичности, естественной убедительности характеров людьми, а современники описываемых в романе событий, как например Вяземский, возмущались и протестовали против искажения исторической действительности, в частности и против

неверных портретов. Подобное неизбежно происходит или может произойти с любым литературным произведением, литературная, неисторическая жизнь которого не исчисляется неделями. Авторские расчеты на долговременность, хотя бы самую скромную, не имеют никакого значения при написании современного очерка. И очерк, как таковой, современный очерк не этим, не своей литературностью, не высокой художественностью выполняет свою важнейшую, свою главную функцию. Очерк подчинен, должен служить целям строительства. Этой целевой установкой определяются и форма и материал его. Если он не может, не выполняет своей главной функции — любой и каждый и должен и может протестовать.

Но, как бы ни был скромен расчет на время, я не могу отказаться от мысли, что будущему бытописателю, будущему художнику и изобразителю наших дней в материале наших героических дней не понадобятся живые люди. Пусть не в рассказе, сюжетным положением, тематической установкой определяющем психическую конституцию героя, идут наши современники, без живых человеческих черт отдавать их времени нельзя.

Сейчас мы пишем о Балахне. Наша основная задача, наша цель помочь ей излечить прорыв, изжить в рабочем организме недостатки и болезни. Отсюда и разговор о людях, отсюда его тематика и смысл.

Мы уже сказали, что треугольник комбината,

его руководство — наши производственные ровесники. Мы прибыли в Курзу, когда руководство только что приняло комбинат. По приступу к работе можно разгадать человека если не целиком, то во всяком случае в очень многом. Но все же этого мало, чтобы перенести человека на страницу, его существованием объяснять факты. Пусть факты говорят за человека. В очерке они должны сложить портрет. И потом разве можно писать о командовании, принявшем части, которые уже вступают в бой? А наше строительство — война, и борьба с прорывом — отдельный ее боевой эпизод.

Директора, нового директора фабрики, зовут Михаил Павлович Болотин. У него упрямый, почти классической тонкости профиль. Как на античной медали, плотно пристали ко лбу беспорядочно вьющиеся волосы. Глаза — тяжелые: кажется, они могут вынести любой взгляд. Еще: он сутулится, как сутулятся люди, которым внешним мускульным усилием приходится выдерживать в одном, раз заказанном состоянии вымотанные бессонницей и работой нервы. Что они вымотаны, нет, не вымотаны — размотаны, говорит и голос, хрипловатый, сорванный на бесчисленных заседаниях и докладах. Они не могут быть не размотаны — бытовое окружение этого человека, даже в часы, когда он не на производстве, дома, в комнате, которая должна служить местом отдыха — это голосом, убеждением, цифрами, доводами, но все

та же борьба за промфинплан, за его выполнение, за ликвидацию прорыва. Для него телефон, кажется, не затихает ни на какое время суток. По крайней мере, как-то очень поздно, ибо только в такие часы его еще можно и удается нам заполучить для какого-нибудь разговора, связанного с текущей работой на производстве,—очень поздно, далеко, может, за полночь, мы видели, как теребил, как не отпускал его больше чем на пять минут телефон. Впрочем и во всем, решительно во всем обстановка, его окружающая, напоминает фронтовую.

Перед войсками, перед теми, кого он должен повести в бой, управляя, руководя кем, он призван сложным маневром одолеть препятствие и кем он закрепит будущую победу, перед войсками мы видели его в первый раз на слете рабкоров.

Решительной рукой отодвинуты все мелочи, организационные неувязки, неизбежные всегда и при всяких обстоятельствах. С хрипловатого голоса, кажется, капают капли расплавленного, никогда не остывающего металла:

— ...Котлы высокого давления не чищены около трех месяцев. С чисткой должны будем вывести из работы на двенадцать дней вторую машину...

— ... Задерживаем ход машин, потому что не хватает древесной массы...

— ... Семнадцать тонн с одного дефибрера в сутки: об этом здесь на фабрике только еще спорят — возможно ли...

— ... Текучесть рабсилы огромна.

— ... Вышхимз,— это химический завод какой-то,— Вышхимз этот самый заключает условия с работающими у нас постоянными рабочими...

— ... За четырнадцать дней сто семнадцать прогулов. Это без Лесной биржи. А на Лесной бирже, на одной Лесной бирже чуть ли не триста, триста, товарищи, за это время...

— ... Соцсоревнование никем не учитывается, никем не руководится...

— ... Фабзавуч ниже всякой критики. Это на нашей-то фабрике, товарищи, четвертой по своему техническому оборудованию в мире!..

— ... Среди инженерно-технических сил никакого ударничества нет и в помине...

— ... Использование рабочих предложений. Оно проводится слабо, слишком слабо, товарищи...

— ... Самокритика, товарищи рабкоры, самокритика не развита, не бьет по действительно больным местам...

Голос к концу речи сделался еще более хриплым. В комнате неистово накурено. Сизый дым застилает ее, тусклит электрический свет. Кажется, что лампочки горят неполным накалом. Напряженное внимание слушателей,— они в пальто, в верхнем платье, в прозодежде, тесно сгрудились над столом, торопливо записывают в своих записных книжках, «берут на заметку» эти вычеканенные директором слова.

Полусумрак полупогашенного табачным дымом

электричества, тяжелый воздух забитой людьми избы — разве не так было на фронте, разве не так было в штабах в самые ответственные и тревожные, неопределившиеся моменты гражданской войны?

Приглушенный усталостью голос, хриплый и тяжелый, напряжение слушателей, вызывающее представление о готовой упасть стопудовой тяжести, и глаза... вот глаза-то и разрешают все.

Несокрушимо упрямые, категорически несдающиеся — они, именно они, увлекают человека в рассказ. Да, в рассказ. Потому что для рассказа набираются эти черты, этими чертами так соблазнительно чертится фабула. Но мы должны думать не о рассказе, мы должны помнить о прорыве на Балахне, мы должны все обратить для его ликвидации, для ее победы. В тень отходит, должен отойти человек, говорят документы.

В ноябре месяце в «Правде» появилось открытое письмо Балахнинской фабрики.

Письмо редакция «Правды» снабдила примечанием:

Помещая письмо треугольника Балахнинского целлюлозно бумажного комбината, редакция «Правды», всемерно поддерживая его инициативу в деле быстрейшего окончания и пуска машин 3-й очереди, отмечает, что очень многое зависит также и от партийно-общественных и хозяйственных организаций Балахны.

В частности общественные организации Балахны могли бы и при наличном оборудовании за счет улучшения производства, развертывания соцсоревнования и ударничества, повы-

щения труддисциплины и борьбы с прогулами повысить выработку бумаги.

Открытое письмо это говорит о большом, так сказать, стратегическом плане балахнинского командования. Но вот о тактическом задании момента, о чем не говорится в письме, на что обращает внимание редакционное примечание, почему не оно на повестке дня? Почему не о нем рапортует широкой общественности балахнинский треугольник? Почему, прося о помощи и внимании к своему стратегическому плану, гордо умолкают о текущей, к выполнению которой они призваны, операции? Почему?

Мокрый ветер делал день из дождя и ненастья. Бревенчатые стены домика, где помещаются партком, фабком, рабочком строительства, мокро набухли, словно мимо них прошли месяцы непогод и туманов. А меж тем и сентябрь и октябрь позднее солнце, словно летом, грело пожелтевшие поля, и Волга играла золотой зыбью. Но так случилось, что «фронт» зашевелился, зашумел вместе с ненастьем.

В фабкоме душно, накурено, и от набившихся сюда людей еще темнее и еще осеннее. Но это только в рассуждении освещения. Настроение совсем не осеннее.

Предфабкома, маленький скуластый человек в кожаной тужурке, собран, напряжен и взволнован. Видно, как на щеках у него играют желваки. Но

пристающих к нему с мелкими текущими нуждишками он отстраняет решительно:

— Да что вы, товарищи, не понимаете что ли, что сейчас не время!

Действительно, сейчас не до «текущих» дел.

Котлочисты выступили со своим «встречным», на тридцать часов перегоняющим план хозяйственников.

Конечно, страшно: а ну как не выдержат, не оправдают вызова? Ведь вызов-то всему коллективу. И дело не в экономии для фабрики столь дорогих для производства тридцати часов, дело не в этом только.

— Надо же, надо переломный момент найти. За что-нибудь уцепиться ведь надо, чтобы весь коллектив лицом наоборот повернуть. Как же тут не ухватиться за котлочистов.

У Кашаева,— это фамилия маленького предфабкома, — задорно и весело горят глаза. Озабоченно и деловито распоряжается он: кооперации — наладить питание, там же на месте, в паросиловой,— условия должны быть такими, каких требуют штурмовики; хозотделу — организовать доставку горячей пищи, снабдить прозодеждой, ведь чистить будут не одни только штатные котлочисты; клубу уже сейчас — немедленно — подготовиться к мобилизации общественного внимания всего балахнинского рабочего коллектива вокруг чистки.

Кашаев замечает нас.

Сквозь кольцо плотно обступивших его людей тянется что-то сказать и нам, и нас поспешить мобилизовать на обслуживание этого ударного порыва.

— Вот, товарищи,— он трясет руку так, словно мы встречаемся в самый ответственный и самый трагический момент нашей жизни.— Они вот за трое суток котел вычистить берутся. Штурмовочку бы. А? Такую, чтобы настроение подняла, чтобы всем захотелось с таким же планом выступить. И их бы ободрила, показала, как к их порыву относятся. Все ведь следят. Будет? К утру будет? Значит, все в порядке.

Он уже перебросился к другим заботам и заказам: со штурмовкой покончено.

Старый ударник паросиловой, один из активистов, застрельщиков «встречного», тов. Кузнецов говорит:

— Вот так-то можно и ударничество и соцсоревнование поднять. По крайней мере, рабочий чувствует, что его энтузиазм ценят и берегут. А то, что при прежнем фабкоме... Э, да что говорить: таких бюрократов навыбирали!

И он махнул рукой.

На прошлое, разумеется. На то прошлое, которое чуть не утопило Балахну в трясине оппортунистического благодушия: работают, дескать, машины, чего ж еще больше.

Но сейчас — это не было только выкарабкиванием из тины.

Котлочисты сумели, смогли обогнать даже свой собственный план. Пример котлочистов оказался поданным не зря.

За котлочистами — сеточники, за сеточниками — рабочие-кислотчики. Волна рабочего энтузиазма переплеснулась через стены паросилового цеха, зарядка передалась другим отделам.

Борьба за темпы — война. Все как на войне, и все по-военному. Если в заводском треугольнике, в реввоенсовете армии производственников, завоевывающих будущее, директорат и партком — командарм и первый член, то партком и фабком — это политотдел. Политобеспечение части, первой пошедшей в наступление ударной бригады котлочистов было на высоте.

Что нужно больше для Балахны сейчас, для всего ее рабочего коллектива? Что важно, о чем должна узнать широкая советская общественность? Как выглядит предфабкома Кашаев, какими словечками уснащена его речь или какие житейские факторы сложили характер секретаря парткома Воронова? Это? Или важнее, что новое, только вступившее руководство сумело в достаточной степени политически обеспечить порыв ударников паросиловой, углубить его, сделать его действительно переломным моментом в настроении всей массы? Нам кажется, последнее.

Производственный эффект порыва увеличивается удачным тактическим маневром, произведенным командованием. При нанесении короткого

встречного удара. умение маневрировать — это больше чем много. Командование сдает и второй экзамен.

В бумажном зале неистово, упрямо крутятся валы. Бумажная лента в шоссе шириной сматывается с них непрестанным потоком. В целлюлозном на сцежах плещется жидкая кашица драгоценного вещества, сберегающего нам валюту, позволяющего загружать паковочную камеру бесконечными ролями газетной бумаги. Душный сернистый воздух хранит в себе безмолвные часы, переваривающие в чудовищных котлах древесные стружки. Стучит гигантская древорубка, в секунды превращающая еловое бревно в кучу мелкой щепы. Методично шумят конвейеры, растаскивающие ее по отделам, с грохотом и шумом вползает в недра фабрики сырье, баланс. Огромный сложнейший механизм работает. Мы проходим по фабрике с Болотиным. После авральных работ по чистке котлов и смене сеток, еще более измятым бессонницей выглядит его лицо. Кажется, он не спит совсем уже третьи сутки. Он посвящает нас в детали плана, детали тактического маневра, позволившего и на половинном количестве пара работать обеим машинам.

Директор должен знать вверенное ему производство. Это в порядке вещей. Директор должен быть талантливым организатором, иначе он не на месте. Но вот откуда, на чем так окрепла, так исхищренно развилась его техническая мысль,

почему он, директор-администратор, обладает технически более углубленным, технически более гибким и чутким пониманием производства, чем любой спец? Это откуда?

— Скажите, товарищ Болотин,— вы сами по специальности бумажник?

Он улыбается.

— Пять лет был на профработе в ЦК бумажников. А так нет — авиамоторист: я восемь лет прослужил в морской авиации.

Он продолжает улыбаться, как будто даже сконфуженно, как будто даже стыдясь, что вот он не бумажник, что вот ему, не специалисту в данной области, не очень поверят, улыбается смущенной, чуть-чуть виноватой улыбкой. Он, разумеется, понимает, почему задан этот вопрос. Словами он этого не объяснит, не станет объяснять,— это должно быть понятно; может быть, он конфузится за спрашивающих.

Разве не ясно, разве не должно быть понятно каждому, почему он сумел и смог так совершенно, так широко охватить мыслью, срастись с производством?

Может быть, будущий беллетрист, не очеркист — беллетрист, которому доведется на широком, большом полотне рисовать картину наших героических дней, может быть, этот беллетрист, если ему придется вписать в свою композицию и фигуру такого директора производства, побеждающего, стремящегося победить время,— может быть, этот

беллетрист найдет прием и выражение, чтобы одним кратким, все объясняющим словом сказать, почему такой Болотин так понимает и знает вверенное ему производство.

В нашем разговоре живой Болотин короткого, однословного пояснения: «я—большевик» очеркисту не сказал.

4. ПРОРЫВ И КАК ЕГО ЛЕЧАТ

Не нужно думать, что фойтовская машина — это так, машина, как машина, естественное и никого не удивляющее вооружение любой бумажной фабрики.

Маленькая справка:

Такими машинами, какими вооружена Балахна, обладают всего лишь четыре фабрики в мире — фабрика Фельдмюле в Германии, Варкаус в Финляндии, Норчеппинг в Швеции и Гранд-Куронн во Франции. Это фойтовскими машинами, не говоря уже о Беглей и Сьюле, но этого мало. Балахнинский, призванный на службу социалистическому строительству «Фойт» давно уже обогнал своих старших сестер. Ни одна из машин на вышеперечисленных фабриках не работает со скоростью 265—285 метров в минуту, ни одна из них не дает 95 — 110 тонн газетной бумаги в сутки при весе квадратного метра 51—52 грамма.

У читателя может возникнуть совершенно справедливое недоумение: откуда же здесь прорыв, почему на Балахнинский бумкомбинат обращена указующая директива председателя «Союзбумаги»

Бородина? Почему, наконец, писательская бригада, направляющаяся сюда, заостряет свое оружие на таких вещах, как:

«От безделья до вредительства только шаг:
Прогульщик, рвач, вредитель—одинаково враг».

Ведь оставлены где-то позади старшие европейские сестры этой бумажной гигантши, ведь таких производственных эффектов не знал, не знает и, вероятно, не будет знать капиталистический Запад. В чем же дело?

Дело оказывается очень простым и одновременно страшно сложным, требующим самой внимательной, самой прилежной общественной помощи, самого сугубого внимания всей советской общественности.

Объективные причины? Можно ли говорить об объективных причинах, препятствующих стремлению к конечной победе класса, класса, установившего, поставившего мировые, технически невозможные рекорды строительной практики, класса, осваивающего и перегоняющего невиданные, незнакомые ему доселе образцы и методы созидательной работы? Можно ли говорить об объективных препятствующих причинах, когда высокий, полный социального классового содержания порыв дарит истории такие формы и методы созидательной работы, как соцсоревнование и ударничество, формы работы, по существу являющиеся формами борьбы — с временем, с природой, с историей?

Конечно, нельзя, невозможно, нелепо. Но объективные причины есть, иначе незачем призывать на помощь общественность, иначе незачем посылать на борьбу с прорывом писательскую бригаду. Мы не техники, мы не принесем Балахне методов скорейшего и простейшего освоения чудес зарубежной техники, мы не можем даже указать на ее технические промахи, обогатить рационализаторским указанием. И тем не менее мы нужны Балахне. Мы постигаем это чуть ли не в день нашего приезда. Мы ей нужны, очень нужны, как нужны ей и другие бригады Крайкома, Крайпрофа, Крайпечати.

На производстве, как школьники, из класса в класс переходя, «дожимают» познание предмета, постигали и вникали мы во все мелочи сложного, совершающегося на наших глазах процесса превращения обрубка елового бревна в полотно белоснежной газетной бумаги. Мы узнали, как делается бумага, но мы узнали и нечто большее, мы вооружились знанием, которое дает нам право считать себя бригадой, по нужности, необходимости брошенной на борьбу с прорывом.

Прорыв — эта диференциальная величина производственной отсталости — здесь, на самом производстве, в гуще его обретает свой истинный смысл и значение. Прорыв — это не только недовыполнение планом определенной производственной программы, прорыв — это содержание, конк-

ретное содержание той героической борьбы, которую ведет отвоевывающий будущее класс.

Единым, целым, нигде не обрывающимся ремнем, подвижным ремнем связаны между собой все участки, все агрегаты той огромной и сложной машины, которая носит название Балахнинского бумкомбината. Сезонник, багром подправляющий в воде идущее на слешер бревно, не менее ответственную и важную выполняет в производстве роль, чем бригадир бумажного зала, иностранный специалист, штатный инструктор смены у Фойта или Беглей-Сьюла. Нерадивость сезонника так же отразится на суточном тоннаже продукции, как и нерадивость высококвалифицированного заграничного спеца. Таким же порывом, как и у ударника, обгоняющего в неистовом штурме время, должен быть преисполнен и вылавливающий из воды баланс сезонник. Бесконечная лента конвейера, несущая сырье в древорубку на целлюлозном, в дефибрер в древесномассном, не может, не должна обращаться впустую. Как минуты, одна за другой составляющие час, должны поступать, итти по ней еловые бревна. А на фабрике было и так, что технический директор становился к конвейеру, чтобы сбрасывать на него бревна, иначе грозил простой машин из-за отсутствия сырья, было и так, что ночной обход заставал на Лесной бирже крепко спящую очередную смену и впустую работающий конвейер, было и так, что на том же самом конвейере, в древо-

рубку несущем баланс, чуть ли не перед самой уже машиной был схвачен и снят кусок стальной обшивки лотка, которым немедленно была бы выведена из строя вся деревоперерабатывающая машина.

«От безделья до вредительства—только шаг»,— кто-то этого тогда очевидно не помнил.

В целлюлозном на сетке пресс-пата оказался оброненный работавшим наверху плотником трехдюймовый гвоздь. В часы остановки всего завода на ремонт кто-то, кому ведать надлежит, ушел, забыв выключить подающий в силосы щепу конвейер, и последний долгие часы, старательно тратя драгоценную электроэнергию, крутился впустую. Кто-то обронил в бракомольную машину слесарный молоток, и машина выбыла из строя на долгий срок. В дни героически напряженнейшей борьбы с прорывом ночной обход директора обнаружил спящего среди бумажного брака бракомольщика,— впрочем такой «брак» ночные обходы обнаруживали и в других отделах. Кем-то допущена такая изношенность американского оборудования на Лесной бирже, что ее меньше чем на 100% никто и не определяет и т. д. и т. п. Конечно не этими фактами определяется появление прорыва, не одними ими обусловлены его размеры. Может быть, кто и скажет, что с производственной точки зрения это все мелочь — возможно, но с производственно-бытовой, так сказать, точки это вещи значительные и весьма,

весьма значительные. Командование, решающее произвести определенную наступательную операцию, не может не учесть не только тактических условий места, времени, данных о противнике, но и политико-морального состояния своих частей. Степень и качество не только интендантского и артиллерийского снабжения, но и политического обслуживания — факторы такого состояния.

В январе этого, то есть 1930 года фойтовская машина была уже настолько освоенной, что могла работать со скоростью до 295 метров в минуту, и вдруг... На гладкой поверхности шестиметрового бумажного полотна, сматывавшегося с каландров, появилась вздутая, безобразившая его жилка. Машину остановили, осмотрели. Причиной появления этой злокачественной жилки определили сетку. Сменили последнюю. Но морщины на бумажном полотне от этого не исчезли, наоборот, они даже увеличивались с каждым днем. Тогда снова остановили, снова осмотрели машину и обнаружили действительную причину. Этому трудно было даже поверить. Машина, чудесная совершенная машина, каких и в Европе-то всего четыре, машина, заказанная у солидной мировой фирмы Фойта, оказалась сделанной недобросовестно. Вал Мильспо, важнейший вал машины, оказался сломанным. Вал Мильспо должен быть цельным, сработанным из одного куска стали. Присланный из Германии своей поверхностью не возбуждал никаких сомнений относительно

добросовестности его исполнения. Оказалось: этот вал Мильспо сделан из двух кусков стали, из двух отдельных частей. Работа вогнала штопором одну половину в другую, по бумаге поползла зловещая жилка. Разумеется, это было серьезным ударом по промфинплану. Домашний местный ремонт излечивал болезнь не радикально и не навсегда. В работе машины стали появляться частые простои, сама машина могла работать только на пониженных скоростях. Боевые успехи, только достигнутые балахнинцами, сводились на-нет. И вот здесь-то, перед командованием, перед всем руководством комбината, перед треугольником фабрики вырастала, во весь рост становилась огромная, не менее важная, чем окончательное излечение вала Мильспо, задача преодоления всех ведомственных и инстанционных трудностей по получению от Фойта нового, сделанного уже без обмана, из одного, цельного куска стали. Задача сохранить боевой пыл во вверенных ему частях, неослабную энергию штурмовиков. Ведь сама по себе поломка вала психологически не могла не отразиться на рабочих. Что же делает руководство?

Поломка вала Мильспо в течение целого лета служит «объективной» причиной, которой объясняют и оправдывают недовыполнение программы, которую на каждом собрании преподносят рабочему коллективу в оправдание себе.

Дальше: летом Нигрэс, Нижегородская госу-

дарственная районная электростанция, начинает подавать энергию с перебоями. Перебои учащаются, количество снимаемых киловатт увеличивается, машины начинают простаивать за отсутствием тока. И опять «объективная» причина, которой пытаются замазать развал на Лесной бирже, утечку рабочей силы, необеспеченность технической.

Рабочая энергия, рабочий энтузиазм не смог, конечно, заглохнуть. Оппортунистическое руководство его подрывало, но и летом, в тяжелых условиях, при еще не сданной окончательно производству второй машине, при только что смененном вале Мильспо, и следовательно «Фойте», сызнова одолевающем скоростные пределы, при нерегулярно поступающей на комбинат электроэнергии, рабочий коллектив героически ведет борьбу с прорывом. Не перестают поступать рабочие предложения, корректирующие, совершенствующие, рационализирующие те или другие моменты производственного процесса, создаются и соревнуются бригады ударников, вызывающиеся на рекордные выработки в смену. Это передовые, но те, которые могли бы пойти за ними, те, которые в других условиях и сами могли бы стать примером, под постоянный напев «объективными» причинами самооправдывающегося руководства заражаются пораженческими настроениями третьих, самых отсталых. На фабрике растут прогулы, падает труддисциплина, печатная газета пестрит заметками о пьянках, преступной небреж-

ности к оборудованию, общественной пассивности.

Кто в этом виноват — ясно без околичностей. Смена всего руководства комбинатом достаточно убедительно указует виновников.

Новое руководство, принявшее комбинат,— почти наши ровесники. Их пребывание на Балахне исчисляется еще днями. Но тяжелое наследство уже принято, и эти дни делают их ответственными за неубывающую цифру прорыва.

Мы прибыли на фабрику ночью. На лилово-черную Волгу огни фабричных корпусов наплескали, как масляные пятна, текучие, зыблющиеся круги золота. Октябрьский волжский ветер не в силах смять могучего дыхания паросиловой. Визжаще грохочут невидимые в ночи слешера и древотаски. Горы, фантастические, сказочные горы дров,— мы еще не знаем, что это называется балансом, — под гигантскими руками стаккеров, сбрасывающих их, как спички. Стаккеры и горы баланса освещены многосвечными электрическими лампами. А кругом сырая ночь, безлюдье на Волге и на берегу. Вот и все. Вот наше первое впечатление от комбината.

В столовой дома для приезжих знакомимся с директором комбината. Он тоже здесь новый, очень еще новый человек.

Широкая, плотная фигура, упрямый, настойчивый профиль и категорически несдающиеся глаза.

— Устали? Очень?— спрашивает он с лукавой усмешкой. — А то может подпитаетесь — и со

мной... знакомиться с производством.

— Сейчас?

— Ну конечно. Я каждый день в это время бываю на производстве.

— «Когда же вы спите?» — должен следовать за этим недоуменный вопрос, ибо еще дорогой в моторке мы уже слышали, что новый директор весь день, целыми днями на производстве. Но этого вопроса не нужно и не стоит задавать: категорически несдающиеся глаза уже ответили на него.

Сейчас они смотрят на нас пристально, чуть-чуть улыбаясь. Мы знакомимся. В ритуал этого знакомства не входит взаимное осведомление друг о друге. Личные подробности в этом ритуале отсутствуют. Через полчаса беседы мы уже знаем, что фабрике нужно, фабрика обязана снять 17 тонн с дефибрера в сутки. В семнадцать тонн упирается вопрос о дальнейшем повышении скоростей на машинах. Семнадцать тонн — в Америке их снимают четырнадцать — это *а*, первая буква того алфавита, каким только и можно будет написать:

ПРОРЫВ ЛИКВИДИРОВАН

Но дело не только в наборе букв для такого алфавита. Дело еще и в наборщиках, дело в тех, кто должен набрать и прочесть эти слова. А не все, далеко не все еще грамотны.

Последнее мы не постигаем, это слишком очевидно, чтобы его нужно было постигать, — по-

следнее мы видим, как только фабрика открывается нам, не спрятанная мохнатой черной ночью. Видим, и через день в «Волжском бумажнике» появляются четыре строчки:

Семнадцать тонн
                    дать должен дефибрер
Машины требуют древесной массы.
Кричи и требуй этого,
                    рабкор!
Ты выполняешь волю класса.

Первые две строчки вошли на Балахне почти что в поговорку, и это показывает, это одно может служить доказательством, как сумело руководство организовать внимание массы вокруг этого актуальнейшего для производства лозунга, дать направление и старт творческому порыву передовых слоев рабочей общественности. Разумеется, не одни только «семнадцать тонн» с дефибрера разрешают проблему целиком. «Семнадцать тонн» — это только один узел в том сложном и запутанном клубке, который называется прорывом и который во что бы то ни стало нужно распутать. Но семнадцать тонн — это конкретное выражение призыва ликвидировать прорыв, реальное указание реального же пути к выполнению этого призыва. Прорыв может быть ликвидирован реальным повышением тоннажа суточной продукции. Весь комбинат — один сплошной конвейер. Нужно по цехам, по отделам разделить и раздать этот лозунг. И действительно «семнадцать тонн» с дефибрера не могут не обязывать, например, и

целлюлозников соответственно повышать и повышать производство своего цеха, «семнадцать тонн» есть обязательство и для бумажного зала использовать их в полной мере в своей дневной продукции. Композиция бумаги имеет строго пропорциональное соотношение входящих в нее частей. «Семнадцать тонн» — это заказ и на определенное количество бумажной выработки.

Лозунг дошел. Ибо мы были свидетелями подвига паросиловиков, на 33 часа раньше против установленного хозяйственниками срока вычистивших котел. Лозунг дошел. Ибо пример паросиловиков не пропал, он заразил, вызвал на такие же подвиги и другие цехи и отделы. Вслед за паросиловиками — сеточники, сменившие сетку в три часа пятьдесят пять минут вместо положенных шести. За сеточниками — варщики целлюлозы, сэкономившие на варке котла целых двенадцать часов. Наступление развивается, вслед за ударным батальоном, первым ринувшимся на штурм времени и темпов, вступают в бой и так же героически дерутся и другие соседние, соприкасающиеся с ним части. Нужно, чтобы это наступление охватило весь фронт, нужно, чтобы оно не захлестнулось.

Руководство в этот момент боя оказывается на месте, оказывается способным вести это наступление. Пример удачно поданного конкретного, осязаемого лозунга и умело развернутая вокруг него массовая работа убеждают в этом.

Человеческий материал, массы, боевые части, силами которых должно осуществиться это наступление, показали, что они могут и умеют бороться. Нужно укрепить в этой массе порыв, нужно развернуть широкое и организованное обслуживание этого наступления. Борьба с прорывом, тактическое задание момента не исчерпывается одной идеей, что не люди за машиной, а машина должна итти за людьми. Порыв должно перевести в систему. Ударные, энтузиастические темпы работ должны стать постоянными, должны уложиться в организованную методическую систему труда. Должно быть осуществленным то, что в просторечии именуется: «Закрепим раз взятые темпы».

Что нужно для этого? Человек, рабочий коллектив балахнинцев показал, что этот совершеннейший конвейер, которым является вся фабрика в целом, эти чудесные, необычайных скоростей и мощностей машины освоены, подчинены им, то есть коллективом, себе настолько, что в его руках они оставляют позади своих западных сестер. Но наряду с этими высокими образцами производственного героизма, наряду с этими достижениями, удивляющими иностранных инструкторов, есть что-то и другое, что почти невозможно увязать, что решительно не связывается в представлении, не уживается рядом с представлением о таком гиганте социалистического строительства, как Балахна.

Октябрь. Первый месяц ударного квартала. Месяц прошел со дня сентябрьского обращения ЦК. И тем не менее, недопустимо ничтожный, позорно ничтожный процент закрепившихся за производством до конца пятилетки. В чем дело? Почему? Неужели этот совершеннейший конвейер, это техническое чудо не захватило, не привязало к себе, не наделило своеобразным производственным патриотизмом?

Октябрь. Первый месяц ударного квартала. Только едва-едва остановлена неизбывно возраставшая цифра прорыва. Пример паросиловиков заражает другие отделы и цехи. Сеточники и целлюлозники дают такие же образцы высокого пролетарского героизма. А наряду с этим в целом ряде отделов прогулы растут. Сигнальные рабкоровские посты то там, то здесь кричат о недопустимом, преступном отношении к оборудованию, к работе тех или иных агрегатов.

В чем же дело? А дело оказывается в том разрыве, в той пропасти, которая отделяет работу и быт этих технических чудищ, этих совершеннейших созданий европейской и американской техники от быта, который царит в поселке, который, как древняя неистребимая плесень, внедрился и в новые стандартные домики, не изгнан и из почернелых жилищ избяной Курзы.

Фабрику построили по последнему слову техники, а вот жилища для тех, кто будет обслуживать это производство, строили так же, как из-

давна и по-старинке строилось любое русское захолустье.

Таких фойтовских машин, как в Балахне, всего лишь четыре в мире. А рабочий клуб в поселке ютится в деревянном, на сарай похожем строении, как будто рабочий клуб и не должен ничем отличаться от провинциального летнего театра, в котором в дореволюционные времена тешили по праздникам мещан.

Момент требует величайшего напряжения всех творческих сил. Восходящий класс героически борется, убеждая мир, что не хуже, чем побеждать в бою, он может превосходить своего классового врага и в строительстве. Борьба за темпы, что по существу и является этим переубеждающим в его силе и возможностях строительства, требует знаний, требует книги. А на балахнинской фабрике с двумя тысячами рабочих едва ли наберется в библиотеке одиннадцать тысяч томов. Да и сомнительно, на все ли свои запросы найдет рабочий ответ среди этих одиннадцати тысяч. Нам жаловались, что в библиотеке нет совсем технической популярной литературы, что читателю мало-мальски повышенной квалификации трудно найти удовлетворяющую его книгу.

Машины в бумажном зале работают со скоростью и продуктивностью, способной буквально потрясти человеческое воображение, а рабочий, обслуживающий эти машины, лишен возможности в день своего отдыха, в выходной день, даже про-

ехать в Нижний, потому что поезд по железнодорожной ветке Курза — Канавино тридцать верст проходит чуть ли не в шесть часов.

К нам как-то зашел рабочий-ударник, активист-комсомолец Ульянов. Почему-то у него было словно виноватое выражение лица.

— Вы что, товарищ? Материал для стенгазеты принесли?

Кто-то из нас трудился тогда над составлением очередного номера стенгазеты.

— Нет. Я так, поговорить зашел. Выходной я сегодня, а вот, знаете, даже поговорить интересно не с кем. Придется должно быть пойти на производство, а то прямо со скуки помереть можно.

И он действительно в конце концов пошел на производство, ушел-таки на производство, потому что единственное доступное разнообразие и развлечение в его выходной день — беседа с нами — не могла продолжаться до вечера.

А Ульянов рассказывал, и это должно казаться по-настоящему страшным, что вот приходит день: четверо суток напряженного труда совершенно естественно требуют отдыха, физического для нервов и мышц, каких-то новых и отличных от каждодневных впечатлений для сознания, а оказывается человеку ни пойти некуда, ни делать нечего. Приятели, с которыми дружит, не совпадают своими выходными днями. Поехать в Нижний далеко, утомительно, а кроме того и материально не всегда доступно. В местной биб-

лиотеке далеко не всегда можно получить интересную книгу. Культкружки еле-еле работают. И вот человек вынужден слоняться так, без дела целый день или спать. Но в двадцать два года спать целые сутки тоже довольно затруднительно.

Вот, представьте себе эти бытовые условия, дополните их из рук вон плохой работой кооперации, невкусным, противным, неопрятно поданным обедом в столовой, затхлым, мещанским бытом в семейных двух-и трехквартирных домиках, склоками на кухне, клубом, работающим не чаще трех раз в декаду, и вам станет ясно, что при неудовлетворительной, вернее, совсем никуда не годной массовой работе, при старом, смененном руководстве Балахна, балахнинская армия бойцов за социалистическое будущее, говоря военным языком, политически никак не была обеспечена.

Массовая работа! Прежде всего массовую работу! Дайте Балахне клуб! Он строится сейчас, но он должен быть построен в самом спешном, в самом срочном порядке. Обеспечьте в этом клубе рабочий досуг серьезным, культурным содержанием, втяните кооперацию в такую же, ударную по темпам и героическую по напряжению, работу, как работа производственников, засыпьте, уничтожьте ту пропасть, которая существует между фабрикой и поселком — этим вы излечите прорыв.

Это должно быть таким же ударным заданием

для руководства, как и семнадцать тонн. Это задание во всей остроте, во всей железной непримиримости и первоочередности включено и руководством и широкой рабочей общественностью в программу, ибо на этом фронте, с этими язвами, главным образом, боролись и борются те многочисленные бригады, которые на помощь Балахне выделил край, которые посылает центр.

Курза—Москва.
Октябрь—декабрь 1930 г.

СОВЕТСКИЙ ФОРД

Если спросить в Нижнем-Новгороде на привокзальной площади, той самой, где длиннейшие очереди ожидающих попасть в автобус, в трамвай образуют своеобразные геометрические фигуры, если спросить там, как пройти на Автозавод, то вам очень обстоятельно и подробно расскажут, где и в какие часы вам нужно искать рабочий поезд, как добраться до этого самого рабочего поезда, как проехать до Автозавода.

— Но ведь это же где-то здесь? Вблизи вокзала? Зачем же поезд? — недоумеваете вы.

— Автозавод? — сожалеюще покачает головой ваш собеседник. — Нет, это совсем не рядом. Это за Молитовкой, за «Ферзеном», верст восемь поездом нужно ехать.

— Но позвольте, там же Автострой, а мне нужен Автозавод.

— Так это и есть одно и то же... Да вам, может, Автосборочный нужно? Тогда это действительно здесь: вот по этой улице второй переулок налево, там покажут.

В Нижнем Автосборочный завод, первый в

Союзе завод, начавший выпускать наши, советские, здесь у нас, дома, слаженные и собранные форды, не считают заводом. В рабочем Канавине, где тесно друг к другу подступили каменные корпуса производств, занимающих в себе каждое по нескольку тысяч человек, это небольшое, на самом берегу Оки прилепившееся строение кажется в их семье малюткой. Другое дело Автострой. Одна площадь его будущей территории измеряется в квадратных километрах. Уже сейчас видные издалека, торчат над землей стальные скелеты его циклопических построек. Завод только возникает, только еще начинает намечаться в стали, в камне, в бетоне грандиозный замысел, утвержденный и утвердившийся на кальке и ватмане. Понятно, что местному канавинскому рабочему, иные масштабы вкладывающему в само представление о заводе хотя по одному тому, что видел и видит он на Автострое, Автосборочный называть заводом почти что неловко.

Но если его там упорно не хотят называть заводом, это не значит, что он не известен, что его трудно разыскать, что он в пренебрежении, вне фокуса общественного внимания местной рабочей среды.

Он очень популярен, этот крохотный заводик, приткнувшийся, как-то затерявшийся в тесноте заселенного, застроенного Канавина. В городе, на других местных больших предприятиях и заводах можно часто увидеть возле клубов плакаты, со-

зывающие рабочие экскурсии — «На Автосборочный». На самом заводе имеется даже специальная штатная должность экскурсовода. Уже по одному этому можно судить, каким вниманием самой широкой советской общественности пользуется этот заводик, какой интерес он вызывает к себе.

Конечно, это интересно и занимательно обойти такое производство, а обойти его можно совершенно свободно за двадцать минут, производство, где, ни на минуту не скрываясь из ваших глаз, любая деталь будущей автомашины, переходя из рук в руки, проползая по механическому конвейеру, перекатываясь на тележке, ряд деталей, складываясь, соединяясь, свинчиваясь, покрываясь краской и лаком, вместе с вами обходит все помещение, чтобы на последнем этапе, на последнем участке конвейера, где окончательной, завершающей операцией является наполнение бака и радиатора бензином и водой, уже готовой, рычащей и сотрясающейся от биения заведенного мотора автомашиной соскочить с помоста на пол управляемой уже рукой водителя. Конечно, это и интересно и занимательно, и может быть и поучительным и стоющим обозрения. Но, конечно, не это привлекает сюда экскурсии, конечно, не это заслуживает такого внимания, чтобы рекомендовать этим экскурсиям направляться сюда, держать специального человека, чтобы показывать и объяснять. Впрочем, «специальный чело-

век» показывает и объясняет как раз только это. А нужно бы, следовало бы этот показ дополнять разъяснениями чего-то другого, что так просто и сразу в глаза не бросается, мимо чего, возможно, и пройдет внимание посетителя Автосборочного.

Автосборочный, я уже сказал, невелик, не кажется сколько-нибудь значительным в ряду своих более старших братьев — соседей. Два кирпичных корпуса, серые ворота между ними, вдоль них по улице проложен железнодорожный путь нормальной колеи. Это снаружи. Внутри солнце жжет покатую асфальтовую площадку. Поката она случайно: это определила местность. Площадка сливается с горячим блеском неподвижной, переставшей течь Оки. Справа и слева кирпичные внушительные корпуса. Внушительны они от размеров площадки, от кажущейся ее пустынности.

Корпус справа,— в него введены железнодорожные пути, — склад готовых деталей, место выгрузки импортного материала, на котором работает Автосборочный, склад готовой продукции — новенькие, блещущие лаком форды грузятся здесь на платформы, отсюда развозятся по всему Союзу.

Корпус слева это и есть самый завод.

Электрические car'ы, такие же, каких теперь уже много на железнодорожных вокзалах, бесшумно шныряют из склада в мастерские. Деревянные ящики, формой и латинской транскрип-

цией выдающие свое заокеанское происхождение, хранят в себе части будущих самоходов. Части, штампованные металлические крылья, детали кабин, капота, радиаторы и прочее густо смазаны нефтяным маслом, упакованы в промасленную бумагу. Прежде чем поступить в производство, войти в оборот конвейера, где их соберут, выкрасят, отполируют, свинтят, они должны быть самым тщательным образом очищены от покрывающего их масла. К гладкой поверхности штампованного железа масло пристает очень прочно, его нельзя снять одним обтиранием. Нужна какая-то специальная предварительная операция, прежде чем шкурка и тряпка окончательно подготовят металлическую поверхность для наложения краски или лака. Это первая операция в процессе сборки нашего русского форда, и эта первая операция производится здесь не по фордовскому рецепту, а своим, нами изобретенным способом, на установке, какой не обладает ни одна фордовская сборочная мастерская в мире. Честь изобретения этой установки принадлежит Нижегородскому автозаводу.

В стандартизованном оборудовании фордовских мастерских, рассеянных по всему свету, для удаления масла с разобранных частей машины служат особые керосиновые ванны, в которых эти части должны пробыть некоторое количество времени, после чего их извлекают, дают стечь керосину и затем обтирают вручную. Такие ванны есть и на

Нижегородском заводе, но стоят они в углу мастерской, наполненные не керосином, а пылью, и густо намазанные маслом части, которые доставляют сюда проворные электро, в них не попадают.

На Нижегородском автозаводе детали, поступившие из склада, освобождаются от масла не посредством керосина, а пара, и совершается это механически. Для этой цели сконструирована особая ванна-парильня в виде закрытой металлической камеры, через которую проходит бесконечная цепь. К этой цепи подвешиваются различные части машины, в камере их обдает струя конденсированного и горячего пара. Разогретое паром масло вместе с каплями оседающей на металле воды стекает вниз, собирается и используется в топке, части выходят из этой своеобразной парильни, так сказать, обезжиренными. Далее их, перевешенных на новую бесконечную цепь, обсушивают сжатым воздухом из особых пульверизаторов, потом вся поверхность протирается шкуркой, чтобы удалить твердый слой остатков грязи, и части готовы для поступления в покрасочные и эмалировочные камеры. Вторые отличаются тем, что наложение слоя эмали производится двухкратным погружением в ванну с последующей обсушкой в особой печи, в то время как окрашивают пульверизатором, разбрызгивающим разведенную краску по всей поверхности.

Окраска и эмалировка производятся в отдель-

ных застекленных камерах, освещающихся ртутными лампами, дающими максимальное рассеивание света и минимум теней. Из этих камер части, каждая своим путем, идут, движутся, переходя со стола на стол, из одних рук в другие, соединяясь, прикрепляясь на свое постоянное место, обрастая обивкой, украшаясь арматурой.

Собранная кабина, пройдя троекратную окраску пульверизатором в красильных камерах, на особых тележках передвигаясь от одного рабочего к другому, покрывается обивкой, на сидении устраиваются подушки, прикрепляется стартер, в окнах появляются стекла, прилаживаются дверцы. Кабина готова, она ждет своей очереди, чтобы ее электрический кран подхватил и перенес на соответствующий участок конвейера, где ее установят на раме шасси.

Мягко, ритмическим размеренным грохотом грохочет конвейер, передвигая с одного участка на другой полусобранную машину, визжат электрические сверла, буравя отверстия для болтов в раме шасси, шипят пульверизаторы быстрым раздраженным шипеньем, покрывая белую железную поверхность ровным слоем голубой или красной краски. Пульверизатор в руках рабочего, производящего окраску, похож на браунинг, пылевая струя, вылетающая из него, почти незаметна в лилово-холодном, без теней, освещении будки; кажется, что кабина красится сама собой.

Шасси собирают на трех неподвижных станках,

и с них, так же, как кабина, электрическими кранами рама переносится в соответствующее место конвейера. Электрические же краны несут на него и мотор, коробку скоростей, карданный вал, рулевую колонку, которые поступают от Форда уже в собранном виде.

На конвейере медленно, едва заметно для глаза передвигается сначала рама шасси, потом к ней прирастают оси, кардан, укрепляются рессоры. Рама идет в камеру для окраски, опять быстрым сердитым шипеньем, заглушаемым грохотом, лязгом и визгом, шипит пульверизатор. Нитрокраска сохнет 6—7 минут. На конвейере уже выкрашенный, разросшийся, развившийся скелет шасси. Электрические лебедки несут по воздуху мотор, радиатор, кабину, платформу, если это грузовик, на конвейере уже не личинка, только отдаленно напоминавшая жука, в которого она должна будет превратиться, на конвейере почти готовый автомобиль, принявший определенные конструкцией черты и формы. У автомобиля еще не хватает колес, крыльев, фар, но вот вырастают и они. Последние операции: радиатор и баки наполняются водой и бензином, заводится мотор. Осмотренная техноруком машина с ритмическим шумом ожившего мотора соскользнет с конвейера, чтобы самостоятельно перейти в гараж, где ее подвергнут окончательному просмотру и испытанию. Так изо дня в день, одна за другой соскальзывают с конвейера Нижегородского завода машины. Двадцать

два блестящих девственной окраской новеньких советских форда ежедневно переходят из левого корпуса в правый, в тот самый, где с железнодорожных платформ сгружают тяжелые квадратные ящики, наполненные перепачканными маслом автомобильными частями. Двадцать два новеньких блестящих форда, двадцать два комплекта собранных, свинченных, выкрашенных и разубранных комплекта этих самых перемазанных маслом разъединенных железных частей выстраиваются ежедневно в складе стройным парадным фронтом. Внутри склада проложен железнодорожный путь, перед фронтом автомобилей выстраивается, стоит, ждет их вереница платформ. Автомобили будут сгружены на нее, платформы отсюда развезут их по разным уголкам Союза, страна обогатится еще одной очередной партией своих собственных, советских фордов.

Обо всем этом, не очень, правда, картинно, не очень, правда, с большим пафосом рассказывает многочисленным экскурсантам «штатный экскурсовод», но зачем требовать пафоса от человека, призванного повторять ежедневно и по нескольку раз одно и то же? Отчет, справка, каталог музея — это почти одно и то же, это помогает найти то, что хотелось, и то, что нужно увидеть, но это не может еще раскрыть для непосвященного, для неподготовленного, значение и смысл увиденного, это еще не может быть ключом, отмыкающим молчание бездушного предмета. Человек со

стороны, попадающий на Автосборочный, проходит по мастерским. Кусок намасленного, неосмысленной для него формы железа, путешествуя рядом, видоизменяясь на каждом шагу, обретает в конце концов очевидное свое назначение, наполняется очевидным и понятным смыслом. Нужно как-то совключить человеческую психику, надо как-то приспособить понимание, сомкнуть его в одной тональности с простотой этой бесчудесной метаморфозы, чтобы зрелище поучало, переставало оставаться только зрелищем.

Человеческие руки, стирающие с этого железа масло, оттирающие его шкуркой, человеческие руки, держащие пульверизатор, похожий на револьвер, пылью, вырывающейся из этого револьвера, окрашивающие деталь, человеческие руки же автоматической отверткой, одним нажимом ее утопляющие винт, человеческие руки, купающие эту деталь в эмали, сверлящие электрическими сверлами отверстия в рамах шасси, свинчивающие на конвейере разнообразные части,—эти человеческие руки мало здесь привлекают внимание зрителя. Слишком просто. Не останавливается на них экскурсовод. Короткая реплика, что все отдельные процессы сборки настолько рационализированы, настолько экономичны в смысле затраты энергии и требования особой приспособленности, что вставший к конвейеру человек через несколько часов становится уже квалифицированным рабочим,— вот и все.

На руках не останавливаются, на руках не следует останавливаться. От рук здесь требуется немного, они даже не должны быть обязательно очень крепкими, очень проворными и натренированными.

— Только очень, очень тупой человек не выдерживает отбора,— говорил мне мастер, русский мастер, шесть месяцев проработавший у самого Форда в Детройте.— У Форда вот как нанимают человека: ему мускулы щупают. Только ведь это там по другим соображениям интересует. А какая же здесь особенная сила при сборке может понадобиться — судите сами. Берем с биржи, большинство кроме как в деревне нигде и не работало, и вот через два дня он делается совершенно квалифицированным рабочим.

— Совершенно ли?

У моего собеседника многолетний производственный стаж, мой собеседник — потомственный пролетарий. У него рабочее чутье, он понимает вопрос, он не требует его разъяснения, он отвечает мне примером.

— Как же не совершенно, а вот вам пример. У нас тут ударной бригадой себя одна смена на участке объявила. И представьте себе: ребята-то всего вторую неделю как на завод попали. Действительно поднажали, вручную пришлось передвигать машину по конвейеру, а это, вы понимаете, механически все соседние участки к такой же точно производительности обязывает. Вот один

паренек из этой бригады и говорит мне: «Ударничество наше в таком случае, если бы только импортный план позволял (этого он конечно не сказал, это я от себя добавляю), так вот ударничество наше, говорит, огромную роль играет, больше, чем поднятие производительности только значит в нашем производстве. Здесь от одного участка все остальные зависят, таким образом всех лодырей и отстающих по всему производству открыть можно. Машина, она несознательного рабочего около себя не держит». Представьте себе, до какой мысли самостоятельно дошел, а ведь всего, может, каких-нибудь две-три-четыре недели прошло, как из деревни приехал. Вот как квалифицируются, сознание перемалывается. А вы сомневаетесь: совершенно ли.

Прост, может быть, даже слишком прост этот рассказ и пример, им преподанный, но за этим рассказом открывается понимание того, почему так устремлено внимание рабочих к этому крохотному среди гигантов заводу, почему сюда направляются и должны направляться рабочие экскурсии и почему эти мастерские, эта кузница кадров для гиганта Автостроя неотъемлема сейчас в представлении о последнем.

Н.-Новгород.
Мыза. Август 1930 г.

БОРОВИЧИ

1. ЭТО ЛИ ГОРОД КУСТАРЕЙ?

По обличью, жестам, манере узнаем профессию человека. Черты лица, фигура, сложение изобличают характер. У городов — как морщины, сообщившие то или иное выражение, как морщины, позволяющие с большей или меньшей правильностью определить характер проделанного жизненного пути,— беззаботно, смиренно обступают улицы тихенькие обывательские домики или коптят предместья заводы. У городов сутолока базаров и площадей, обступившие железнодорожные станции или пристани склады, тянущиеся к этим последним обозы торопливо сообщают приезжему, чем живут, чем отвоевали себе это право на жизнь эти самые города.

О Боровичах еще раньше, чем я их увидел, я знал, что здесь — центр кустарной текстильной промышленности, что здесь с очень уж кажущихся сейчас отдаленными времен население занимается вязальным промыслом, что здесь с незапамятных времен процветал и другой кустарный промысел — гончарный. Археологические раскопки

говорят, что он существовал здесь еще в доисторические времена: следы гончарной мастерской первобытного человека относятся к раннему неолиту. Промысел этот не угасал тысячелетия. Совсем еще недавно глиняная боровичская посуда расходилась по всей России. Красные глиняные свистульки — петушки и всадники — в соломе и сене рядом с такими же «рыжими» тарелками и чайниками разъезжали по необъятным российским просторам, соблазняя деревенских покупателей из телеги боровичского скупщика-посудника. Впрочем, это «совсем недавно» теперь измеряется уже не одним десятком лет. Металл и стекло вытеснили из обихода «рыжую» боровичскую посуду, кустарю — гончару оказалось не под силу конкурировать с фабрично-силикатной промышленностью. Этот промысел обречен был вымирать, чтобы в наши дни исчезнуть совсем. На карте былого распространения гончарного промысла в Боровичском округе многочисленные красные точки свидетельствуют не только о его распространенности, но и о славе мастеров, бесследно не ушедших из местной памяти. На базисе профессиональных навыков и склонностей в этом районе уже с половины прошлого века усиленно культивируется и развивается заводская керамическая промышленность. Нынешние гиганты «Центрошамота»—ее прямые потомки. Знаменитые огнеупорные и кислотоупорные изделия, впервые в России начали выделывать здесь. Знаменитый боровичский кир-

пич заслуженно славен и за границей. Этот кирпич вы видите в штабелях, когда только вступаете в город, этот кирпич вы видите на подводах бесконечных обозов, тянущихся вам навстречу, когда тряская пролетка выматывает вам душу на мостовой, называющейся так только по традиции; эти кирпичи вы видите под навесами обширных складов. Комья сырой белой глины везут увязающие в грязи телеги. Белой мучной пылью обсыпаны громадные корпуса шамотных заводов. Город глины, город кирпича — должен сказать в первую минуту приезжающий в Боровичи. И меньше всего может показаться ему, что этот город — центр кустарнопромыслового района, что здесь уже многие десятки лет население выбрасывает избыточные в сельском хозяйстве руки на промысловое ремесленничанье, что здесь уже второе десятилетие существует «Кустаресоюз», объединяющий огромную сеть кустарных артелей, раскинувшуюся по всему району.

Оживление и толпы на улицах только в часы обеда, в семь вечера и по утрам, в часы, когда орут фабричные гудки, когда забиваются густыми толпами входящих контрольные будки на заводах. Словом — улицы дисциплинированного рабочего центра. Тишина трудового города в тех его частях, где не дымят заводы, и кипучая деловая жизнь там, где расположились они. Около домов не замечается палисадников, столь обычного для провинции показателя, где обыватель любит в лет-

ние дни проводить избыток своей благодушной праздности. У попадающихся навстречу прохожих в большинстве озабоченная деловитость в походке, не вызывающая сомнений природная рабочая внешность.

Может быть, это так «орабочили» город заводы «Центрошамота». Их здесь не один. Но нет — вот вывеска: «Горсельпром. Кирпичный завод огнеупорных изделий». Значит знаменитый «боровичский» продукт вырабатывают не только заводы госпромышленности, значит в этой по-трудовому деловитой толпе шагают и кустари, бывшие одиночки — гончары, «мастерки», обобществившие ныне свой труд в кооперативной артельной мастерской-заводе.

Дальше в город, ближе к его центру, толпа все такая же, и в те же часы появляется она на улице, но на платье проходящих не заметно следов связанной с глиной профессии. Больше женщины, шумно и торопливо рассыпающиеся в урочные часы по улицам. На попадающихся взгляду вывесках неизбежная комбинация слов «Кустпром». Нет, оказывается, не только заводы «Центрошамота» сообщают городу такой «рабочий» вид. Но ведь здесь больше кроме них как будто и нет других заводов или фабрик. Здесь — центр и средоточие кустарной промышленности. Так отчего же тогда город не имеет совсем «кустарного» вида?

Боровичи появляются для приезжего в 7 часов.

Такова воля железнодорожного расписания: единственный в сутки пассажирский поезд по Боровичской ветке прибывает сюда именно в семь.

Город начинается тут же у вокзала. Мало приветливая мостовая не располагает к созерцанию пейзажа. Пейзаж не отличается ни богатством красок, ни разнообразием: справа дымят глиняной пылью шамотные заводы, слева — обычные для бывшего уездного и не торгового городка домики. Может быть, приметится только, что при них нет палисадников.

Улица сворачивает влево. Перед глазами огромный белый собор. Он заметно возвышается над местностью. Опять крутой поворот. Улица куда-то летит вниз, к реке.

Это — Мста. Она прихотливо извивается, бьется в берег, перебрасывается к другому. Серыми широкими полосами лежат намытые ею песчаные отмели.

Через реку перекинут большой прочный мост. Мост кажется непропорционально огромным по сравнению с подступившими к нему домами, непропорционально огромным и для такой реки.

Въезжаем под его своды, и сразу и лошадь и пролетка как будто уменьшаются в размерах. Над головой затейливые переплетения железных балок. Гулко стучат копыта по деревянному настилу. Проезжаем мост, и опять дребезжаще грохочут колеса. Но здесь мостовые становятся заметно приветливее: отсутствуют ухабы, и нет этой вяз-

кой, как резина, грязи. Извозчик развивает максимально доступную его кляче скорость.

Прямой, довольно широкой улицей подлетаем к двухэтажному каменному зданию со скромной и не очень впечатляющей вывеской: «Кустаресоюз».

2. КУСТАРЕСОЮЗ

В вагоне, приближаясь к Боровичам, я имел возможность узнать вкратце историю Кустаресоюза. Рассказывал старый и убежденный кооператор.

Вряд ли еще какая-либо кооперативная организация может похвалиться такой непрерывной, такой последовательно, в каждом году созидательным достижением отмеченной историей, как Боровичский Кустаресоюз. Тем более организация промысловой кооперации. Дореволюционные союзы кустарнопромысловых товариществ в такой степени строились на основах, чуждых и неприемлемых для советской кооперации, что большинство из них оказалось совершенно невозможным приспособить, переделать применительно к новым условиям. Боровичский Кустаресоюз — чуть не единственный, не потребовавший коренной ломки, коренного переустройства в основной своей схеме и после революции. Даже название его — Боровичско-Валдайский кустарный и сельскохозяйственный союз товариществ — сохранилось с 1914 года, когда был утвержден устав Боровичско-

Валдайского кустарного и сельскохозяйственного союзного товарищества.

Боровичско-Валдайский район издавна являлся местом развития кустарного промысла. Близость таких потребительских центров, как Москва и Ленинград (и та, и другая столица отдалены от него почти равным расстоянием), и неблагоприятные почвенные условия, заставлявшие крестьян искать приложения рук в подсобных промыслах, способствовали его развитию. К вязальному промыслу население обратилось здесь в 80-х — 90-х годах прошлого столетия. Относительная простота обращения с вязальным аппаратом и несложность работы на нем, постоянное наличие избыточной рабочей силы в местном крестьянском хозяйстве указывали торговому капиталу мелких хозяйчиков форму и способ его приложения. Развившийся чрезвычайно быстро в виде домашней промышленности промысел этот, как более эффективный в смысле времени извлечения доходов и как более легкий, не замедлил вызвать замирание другой отрасли хозяйства кустаря, именно сельскохозяйственной. Начиная с 80-х годов все последующие годы до революции дают непрестанное понижение посевной площади по району. Круг противоречий, сложившихся между сельским хозяйством и кустарством, усугубленный хозяйничаньем торгового капитала, фактически превращавшего кустаря в наемного рабочего предпринимателя, был безвыходен для кустаря лично. Требовалось втор-

жение какой-нибудь организующей силы со стороны. Такой силой и явилась здесь кооперация как прямое следствие хозяйственной обстановки, как средство к ее упорядочению. В кооперации прежде всего был выход и защита от хищнических методов работы «хозяйчика».

Профессор Е. П. Петров, обследовавший в экономическом отношении Боровичско-Валдайский район, пишет по этому поводу:

«Нужда, гнет и эксплоатация породили среди кустарей Боровичского уезда стихийное стремление освободиться от этих пут и дружными общими усилиями начать строительство новой, свободной жизни. Нужно было организовать это движение и вылить в здоровую надежную форму. Таковой явилась кооперация. Для более плодотворного ее построения и развития требовалось активное ядро работников, которые, с одной стороны, были бы глубоко и бескорыстно преданы делу, с другой — обладали бы широким экономическим кругозором, чтобы учесть все многообразие организуемой среды и обстановки. Такое ядро на редкость удачно сложилось в Боровичском районе. Отсюда и развитие организации отличается с начала до конца своей планомерностью и систематичностью. Прежде всего объединяющим элементом берется промысел, дающий наибольший денежный доход для крестьянского хозяйства и таким образом связывающий его с внешним экономическим миром. Организуется трикотажный и

сапожный промыслы; путем тщательных обследований намечаются районы, в них пункты, где и создаются организационные базы — товарищества. Товарищества объединяются в союз. Там, где район удален от центра, открывается отделение союза. Так, для более легкого охвата удаленного от Боровичей верст на 150 Тверского трикотажного района, открывается отделение при ст. Лихославль.

Так создается стройная система, организующая снабжение кустарей сырьем и подсобными материалами и производство без прежней эксплоатации и зависимости от хозяйчиков».

Эта стройная система к 1915 году охватывает уже огромный район, огромное число крестьянских кустарных артелей. Принципы кооперации проникают в самые широкие слои населения. Одиночки, освобождаясь от кабальной зависимости скупщиков — «хозяйчиков», организуют все новые и новые артели. К 1915 году Кустаресоюз оказывается настолько хозяйственно окрепшей и мощной организацией, что он может приобретать и строить красильно-валочные заводы, строить прядильную фабрику, открыть мастерскую по ремонту вязальных и сельскохозяйственных орудий.

Период укрепления его хозяйственной мощи заканчивается к 1917 году открытием еще целого ряда подсобных и основных производственных предприятий, самостоятельным выходом на ши-

рокие потребительские рынки. В революцию Кустаресоюз вступает мощной кооперативной организацией со сложным и многообразным собственным хозяйством.

Революция начинает в жизни Кустаресоюза новый период, период, подготовляющий кустарю переход в светлое социалистическое будущее, позволяющий и кустарю-одиночке, отщепенцу рабочей семьи, приобщиться к строительству социализма. Период от 1919 до 1928 г. характеризуется усиленным электростроительством в районе. Электрификация района подводит новую техническую базу под производство, позволяет перейти к более совершенному, машинизированному. В электрифицированном районе появляется возможность широкого открытия коллективных мастерских. Через последние открывается и другая возможность, возможность вовлечения в активную кооперативно-общественную работу наиболее бедняцких членов артели, наиболее бедняцких слоев местного крестьянского населения. Открывается возможность повести наступление против кулацкого засилья в артелях, вырвать экономическую базу и оружие у последних. Механизированная коллективная мастерская — первая ступень, первый шаг на пути обобществления кустарного труда, пути к организации производственной коммуны.

Кустаресоюз оказался на своем месте и в качестве организатора, укладывающего в деловые,

практические рамки стихийное стремление населения через электрификацию приобщиться к культуре, и в качестве экономически достаточно мощного строителя, сумевшего реализовать эти стремления. За период, последовавший за Октябрьской революцией, в районе возникает целый ряд тепловых электростанций, дающих свет и движущую силу местному кустарному производству, возводится грандиозное гидротехническое сооружение между озерами Островенко — Плотично, Плотично — Боровно, призванное дать силу для будущей гидростанции. Эта станция окончена постройкой и работает с 1928 года.

Но сколь бы ни была гибкой применительно к местным экономическим условиям Боровичская промысловая кооперация, до 1917 года говорить о раскрепощении ею в те времена всей массы занятого кустарством населения, разумеется, не приходится.

Понятно, что в дореволюционные времена правления артелей составлялись из определенно кулацких элементов, понятно, что в практической своей деятельности такое «правление» ревностно хранило все методы и приемы «работы» эксплоататора-хозяйчика. В сущности положение рядового члена такой артели мало чем отличалось от его прежнего «одинокого» существования. Так же его обирали и выжимали из него трудовые соки «правленцы», так же безгласен и беспомощен оставался он против них,

как и против купца-обиралы. Но с революцией и у забитого, безгласного кустаря появляется голос. Не все, не сразу начинают понимать махинации своих правленцев. Но для некоторых они уже ясны, ясна природа их пребывания у «власти». Вслед за некоторыми, к этому пониманию приходит и остальное большинство кустарей.

3. «МАНУФАКТУРА»

В Боровичах над дверями краевого музея висит аршинный плакат:

НА ГЛИНЕ СТРОИЛАСЬ И ПЕРЕСТРАИВАЛАСЬ БОРОВИЧСКАЯ ЖИЗНЬ

В истине этого убеждаешься после первой же поездки по округу, но проехать в сырой осенний день по этому фундаменту местной жизни не так-то уж приятно. В серой, похожей на разведенный цемент, массе автомобиль буксует буквально на каждом шагу. Не лучше и в пролетке. Через две версты от лошади идет пар, как будто ее гнали не две версты, а двадцать, а между тем она своим движением вместе с экипажем напоминала муху, попавшую на клейкую бумагу. Разнообразилось это движение только ухабами, высоко подбрасывающими вас на сиденьи и заливающими притом потоками цветистой грязи.

Мы едем районом кирпичных заводов Центрошамота. Огромные, запудренные розовой пылью здания, горы бледнорозового огнеупорного кирпича. Кирпич на телегах загромоздивших узкую

дорогу обозов, кирпич в вагонетках, под предупредительные свистки раскатисто вылетающих из-за заводской ограды, кирпич на ж.д. платформах, кирпич в вагонах, кирпич под навесами. Горы бледнорозового, зарумянившегося, как от отблеска бледной зари, кирпича, знаменитого огнеупорного боровичского кирпича, экспортирующегося за границу, не знающего конкурента внутри Союза.

Когда вы проезжаете здесь, плакат над дверями краевого музея не кажется хоть сколько-нибудь преувеличенным обобщением.

Но глина способствовала здесь произрастанию не одних только «глиняных» промыслов. Когда-то весьма распространенное гончарное кустарство, изделия которого в наши дни оказались почти целиком вытесненными стеклом, фарфором и металлом, окончательно отошло в историю со славной памятью прародителей крупной керамической и шамотной заводской промышленности. Но скудородная почва, издавна заставлявшая население искать заработков от подсобных промыслов, по-прежнему оставляет в хозяйстве избыточные рабочие руки. Близость таких потребительских центров, как Ленинград и Москва, подсказывает форму их приложения. В районе развился и процветает по сию пору и другой кустарный промысел.

С трудом, но все-таки вытащила лошаденка наш экипаж с липкого полотна дождем и обоза-

ми размешанной глины. За пределами завода Центрошамота грунт крепче. По сторонам — унылый пейзаж голых мокнущих полей. «Ель, сосна да мох седой». Впрочем, преобладает последний. Вдалеке, на косогоре — обнесенный деревянным забором двухэтажный деревянный дом, похожий издали на огромный сарай. Справа от него голый простор полей, слева цепь низкорослых избушек. Это и есть цель нашего путешествия.

За оградой, у крыльца одиноко украсившего косогор дома — ни души. Но огромный огороженный пустырь кажется наполненным частым и однообразным стрекотанием. От этого стрекотания деревянные стены ветхого дома вблизи напоминают замшенного старостью деда, давно пережившего свое время. Даже запах как будто идет от него, как от давно нездорового и неопрятного человека. Сизо-серые, не один десяток годов мокнущие под дождем стены эти сходятся косыми углами, окна в них посажены так, словно построили дом слепым, а их прорубали потом. Может быть от этого частого однообразного стрекотанья, которое набилось в пустырь и от которого ветхие стены дома кажутся живыми, и мелькнула мысль, что так же должна была выглядеть какая-нибудь петровская «мануфактура», полутемный сарай, до-отказа набитый шелестом и верещанием деревянных станков, тяжелыми запахами человеческого многолюдства и безмолвным непрерывным рабским трудом.

Через заставленные коробами, заваленные мотками пряжи сени прошли мы в тесную, низкую комнату, полную людей.

У прилавка закутанная в платок женщина в полушубке выкладывала из короба связки пестрых носков. На прилавке весы, горы ярких шерстяных шарфов и таких же носков. За прилавком другая женщина, но не в полушубке, в красном платочке, с энергичным сухим лицом и жестами. Как в кооперативе. Проворно пробегают через ее руки связки носков, отложенные летят на весы.

— Кило сто сорок.

Пачка с весов летит в сторону, падает в груду таких же за прилавком.

— А это что? Подштопать, подштопать.

И пары, одна за другой, минуя весы, возвращаются к женщине в полушубке. Она без возражений, только пощупав что-то в связке, бросает ее обратно в короб.

Записка из Кустаресоюза ведет меня к члену правления, зав. производством тов. Кузьмичеву и приводит вовсе не в кабинет, где за столом с телефонами важно заседает деловито командующий мужчина, а в полутемную кладовую, до потолка заваленную пряжей.

— Извините, одну минуточку. Вот человека только отпущу. Приемкой мы занимались.

Мы — это он и возчик. Член правления распаковывал и пересчитывал тюки. Возчик втаскивал их сюда. Но может быть, читатель подумает, что

все это дело домашнее, что все мастерские не стоят того, чтобы иметь еще каких-то специальных приемщиков? Хоромское кустарное товарищество, как я узнал впоследствии от того же Кузьмичева, объединяет тысячу кустарей, из них больше половины работает в коллективных мастерских. В этой, снаружи походившей на допотопную «мануфактуру», работало двести. Число, не слишком маленькое и для настоящей трикотажной фабрики.

Мы не задерживаемся в комнате, где женщина в красном платочке пересчитывает и вешает связанные пачки носков.

— «Одиночки»,— презрительно говорит Кузьмичев.— Грубый товар. Вот пройдемте, я вам покажу, что мы здесь работаем.

Действительно, они вырабатывали здесь вещи, которыми зав. производством вправе был похвастаться.

Он через двор провел меня в крайний угол пустыря. На сером бесцветном фоне осеннего пейзажа рдела ярким пятном кирпичная новая кладка. Поверх ее плотники уже прилаживали стропила.

— Вот. Наше строительство. Общее собрание постановило. Обязательно расширяться нам нужно. Теперь вот у нас и техническое оборудование, может, такое, какое не на всякой фабрике найдешь, а работаем в таких сараях.— Он безнадежно махнул рукой.— Да что говорить, сами видите.

Мы входим в какой-то флигель. Этот по внешности выглядит тоже уцелевшим от петровских времен. Переступаем порог, и сразу окунаемся в жаркое стрекотанье кузнечиков июльского истомленного дня. Кузнечики эти — маленькие круглые стальные машинки. Их по полдюжине у каждого стола. За машинками — молодежь.

Белая, в толщину руки, вязаная кишка проворно ползет из-под машинки, складываясь, наполняет подставленный коробок. Над машинкой с легким жужжанием быстро вертятся катушки. Вязальщицы и вязальщики только проворно подхватывают оборвавшуюся нитку, поправляют заскочившую нитяную петлю.

В низко прорубленные маленькие окна скупо сочится тусклый октябрьский свет. Бревенчатые стены мастерской, как в древней избе, стали от времени восковыми, на потолке черная, как копоть, пыль.

— Мальезные машины,— с торжеством поясняет мне Кузьмичев.— Видите, вот тут в одной ленте носок за носком по форме ноги: носок, пятка, выгиб по подъему. Теперь такую ленту только разрезать на штуки и на заделочную машину. Полный процесс всего на двух машинах, и максимальная производительность. Лучших машин в трикотажном производстве и за границей нет. Последнее слово.

Но меня удивляют не машины. Я спрашиваю, кто же обучал эту молодежь работать на таких

машинах (ведь он же сам сказал, это его же слова: «Девяносто семь иголочек на такой машине, ух, как смотреть нужно, зазевался — и иголка готова, а они товар импортный»), откуда брались инструктора, кто наконец у них механик, обслуживающий эти машины.

— Да никто: сами выучились,— просто объясняет Кузьмичев. — А механик — вот этот парнишечка. Страсть какой способный. Ему бы дальше учиться, да жалко отпускать: без него что будем делать? На заводе немного поработал, а в любой машине разбирается, и как разбирается. Весь ремонт его руками справляем. Он и инструктором по новым машинам был. А наемного человека нам держать трудно. Этот-то член артели.

4. ОБОБЩЕСТВЛЕННЫЙ ТРУД

Кузьмичев водил меня по помещениям, где петельные, заделочные машины со скоростью пулемета выбрасывали из себя готовые изделия, где низко склонившаяся над подшивочным «Оверлоком» женщина строчила с такой быстротой, что невозможно рябило в глазах. В низких, придушенных деревянными потолками комнатах тонко гудели электромоторы, давая жизнь этим машинам. Ветхие стены ветхого дома сотрясались от жужжания машин, на каких работают и в оборудованных по самому последнему слову техники заведениях. Мне показывали Гроссеровскую жаккардную машину, у которой автоматически

вспыхивающая лампочка предупреждает о порвавшейся нитке, машину, на которой вяжутся «палантины», т. е. широкие дамские платки с самым затейливым и сложным рисунком; на этой же машине вяжется и трикотажное полотно для модных вязаных костюмов. Мне показывали машину, на которой бесконечное разнообразие спускающихся с катушек разноцветных шелковых и шерстяных нитей преобразуется в нарядную ткань самого изысканного рисунка. Меня водили в «красильную», где оказался такой же, как и у мальезных машин, самоучка-химик, раскрывавший секреты заграничных расцветок и сам приготовивший такие краски. Мне показали сушильню, где наряду с огромными, как в пекарнях, печами готовый товар сушился и разглаживался на алюминиевых, по форме чулка, пластинах, нагреваемых электричеством: «в два раза дешевле и во много, много раз быстрее». Везде было крайне тесно, использован чуть ли не каждый вершок площади, везде было душно, воздух сперт, отсутствовала вентиляция, вместе с входящим врывался наружный холод, так как в некоторых помещениях двери открывались прямо на двор, везде было недостаточно светло. Но удивляло не сочетание этих «петровских» условий труда с машинами самых последних конструкций. Конечно, не подивиться производственному героизму людей, в таких условиях не отстающих от рынка своей продукцией, нельзя. Но чьей волей прояв-

лен этот героизм, чьим желанием, настойчивостью осуществилась эта механизация, продолжает совершенствоваться производство?

Кузьмичев почти в каждом отделении, почти около каждой машины сообщал: «общее собрание постановило», «общее собрание потребовало» или «мы отыскали», «мы давно добивались», «мы выхлопотали через Кустаресоюз» и т. д. и т. п.

Общее собрание, оказывается, постановило обратить всю годовую прибыль артели на строительство, общим собранием выносилось пожелание о приобретении мальезных машин, такой невероятной производительности. Общее собрание единогласно одобрило организацию кустарно-сельскохозяйственной артели. И коммуна эта уже живет, получила землю, инвентарь сельскохозяйственный, снабжена инвентарем для кустарно-трикотажного промысла. Общее собрание, то есть кустарь, кустарка, трикотажница, в среднем зарабатывающая значительно ниже рабочего, работницы, занятых в соответствующей отрасли госпромышленности, добивается не новых повышенных расценок на свой труд, а возможно полной и всесторонней механизации общего производства, расширения его, укрепления.

— Как только в правление новые люди прошли, — рассказывает Кузьмичев, — так только и можно стало о новом пути подумывать. Не варежки же или вот такие носочки вязать. С этим да-

леко не уедешь. Конечно, кулаки, которые еще в артели оставались, правленцы бывшие, очень много вредили. Ну и вот...

И вот в таком обновленном товариществе, которое из беспризорных батраков организует коммуну, которое отказывается от личных, самых скромных, самых ничтожных преимуществ, мирится с таким общежитием, которое стесняется показать заезжему гостю, — в таком товариществе может зародиться и развиваться этот своеобразный производственный патриотизм.

5. ОТ СОЛДАТСКОЙ ВАРЕЖКИ ДО ШЕЛКОВОГО ДЖЕМПЕРА

На складе, где мне показывали укрепленные на фанерной доске образцы изделий Альтмана (есть в Москве такая концессионная фабрика — вещички-то не многим лучше нашего будут), Кузьмичев как бы ответил на этот невысказанный вопрос; откуда это стремление, этот производственный патриотизм кустарей.

На фанерной доске, не той, на которой изящно распластались тонкие, как папиросная бумага, изделия из шелка и вискозы,— на другой, которую в сущности никто и не торопился выдвинуть ближе к свету, на доске, которой не хвастались, потому что на ней не было пестрых, «заграничной расцветки», носков из мерсеризованной бумаги, ярких и нарядных — вискоза с шелком — платков, на

скромно отставленной в сторонку доске были приколоты грубые детские носочки и перчатки яркой одноцветной окраски, какие можно видеть только на сельских ярмарках или в деревенских кооперативах.

— Это у нас теперь только одиночки на дому такие работают,— поспешил разъяснить мне, откуда у них берется такая «отстающая» продукция, Кузьмичев. — Знаете, теперь и деревня требует чего помоднее, плохой, грубый товар и в деревне не идет. А вот...

Нет, он мне не рассказывал историю товарищества, он не собирался рассказывать ее, он только не мог не вспомнить, показывая мне эту «отстающую» продукцию, что с еще более грубого и неискусного вязания начался здесь промысел.

— В войну, в четырнадцатом году, кулаки здесь сообразили товарищество. На армию тогда заказы легко раздавали. Вот под эти заказы они и мастерскую общую соорудили. Да какая там мастерская: ручные плоские машины,— только и можно было солдатские варежки вязать.

Это кулацкое товарищество просуществовало до 1924 года. Как? Почему?

Кузьмичев объясняет просто и исчерпывающе:

— Пятачками рты замазывали.

— Какими это пятачками?

— А вот какими. Как годичное отчетное собрание соберется, так старое правление и предлагает: «Вот, дескать, мол, прибыль опять получилась.

Предлагаем поделить ее между членами артели». И придется-то на душу всего-навсего такие гроши, что говорить о них не стоит, а орут: «Нам другого правления не надобно. Вон оно как умеет дела вести». Ну и переизберут опять...

— А теперь у нас,— продолжает рассказывать про «свои» достижения Кузьмичев,— после того, как мы артель почистили, не то что кулаков, а таких, которые самое нищенское хозяйство имеют, не больше 25% осталось. Остальные, да вот смотрите,— он вытащил списки,— батраков и бедняков бесхозяйственных — 50%, 25% городских. Тоже, если что имеет, в артель не пойдет, за сорока рублями не погонится.

В таком товариществе путь может быть только один.

— У такого голыша какая же еще может быть дорога,— заключил Кузьмичев.— Каждый, даже самый несознательный, понимает, что чем лучше, чем больше укрепит он свое производство, тем ему самому дышать легче будет.

Да, несомненно, даже самые несознательные, как их называет Кузьмичев, понимают и поняли. Выходя из этого ветхого, на петровскую мануфактуру похожего дома, я прочел на доске в сенях, заваленных пряжей и коробами:

Протокол заседания правления и культкомиссии.

п. 1. Занести на черную доску непосещающих школы ликбеза;

п. 2. Злостно непосещающих — снимать с работы;
п. 3. Премировать деньгами и вещами особо прилежных.

Против пункта два карандашом, неровными, разваливающимися в разные стороны буквами было приписано:

Правильна, ети нам враги.

Москва.
Ноябрь 1929 г.

ПОКОЛЕНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНИХ

Все-таки ведь это не война.

Определение, претендующее на научную точность, говорит:

«Маневры составляют особый вид полевых упражнений войск, изображающих военные действия, причем обе стороны действуют друг против друга на основании определенных предположений».

От войны здесь пейзаж, оживающий то двигающимися обозами, то перебегающими в траве цепями. От войны — ночи: черный, загасивший окна город, молчаливый грохот проезжающей артиллерии, движением человеческой массы шевелится тьма, части, за ними обозы, опять части, опять обозы, в полосе вырвавшегося света вырежется и пропадет силуэт всадника или человеческой фигуры с качающимся штыком — чем это отличается от незабываемых ночей, когда с томящей сердце пустотой оставляли города, с напрягшимся сторожко каждым нервом вступали в оставленные противником. Еще от войны — штабы.

Неумолчное стрекотанье Юзов и Морзе, примостившихся где-нибудь в углу, в своеобразной «аппаратной», отгороженной классными досками; как разлетевшиеся из клетки канарейки, поют по коридорам и в проходных шпоры, забрызганный грязью ординарец ищет коменданта штаба, снующие во всех направлениях люди деловиты и проворны, ибо без дела никто сюда не зайдет, бессонная, неумолчная, как стрекотанье телеграфа, суета и собственное такое же бессонное, не знающее масштабов и временности, вбирание, емкое, крупное, жадное вбирание впечатлений,— какой еще режиссер на каком театре мог бы поставить с такой переубеждающей подлинностью воюющий, работающий штаб?

Штаб или время, из памяти переплеснувшееся в действительность, не оставляет вас и за дверями. И за дверями, как в дни решающих боев, с учетом на максимальную скорость и выразительность — приказания и распоряжения, на рысях подлетающие ординарцы, на полном газе — машины. Белый ампирный особняк уже в сумерках кажется лунной, утверждающейся на земле массой: это тоже словно и не случайность — так во времена гражданской войны заселяли штабы особняки барских усадеб, так прочно связывается в представлении шаблонный «рассейский» ампир и бессонно кипящий работой и напряжением, красным флагом отметивший свое местопребывание штаб. У подъезда длинный сплошной фронт

автомашин: во времена гражданской войны такого скопления не видали даже армейские штабы. Чего еще не было в те времена?

Да вот еще. С начинающими густеть сумерками красноармеец складывает огромное, расстеленное по земле перед террасой полотнище попхейма.

Что такое попхейм?

— Поп это поп, священник,— острил в школе, где в этом году «переподготовляли» нас, ветеранов двух войн, преподаватель связи. — А Хейм это фамилия.

Имя капитана английской службы связи носит такое полотно, которое применяется теперь во всех армиях, при помощи которого условной азбукой земля разговаривает со своими воздушными разведчиками.

В воздухе металлическим рокотанием стрекочет машина, на попхейме открываются белые клапаны, машина, покружившись, круто взмывает и скрывается из глаз, красноармеец-связист бежит в штаб с донесением.

Завтра решительный день. В штабе, в штабной столовой гудят разговоры. К концу «боевого» дня попавшие сюда посредники, торопливо проглатывая свой ужин, обсуждают и спорят о решениях проделанных за день операций.

Это уже не от войны. И в самом деле, разве может быть так на войне? Недрогнувшая, нерасстроившая своего порядка часть, она никак не загасила, не ослабила своего наступательного поры-

ва, и вдруг... человек с белой повязкой на рукаве подходит и снимает вас с поля битвы.

— Вас уже нет, вы не воюете — перебиты.

Понятно, почему в обстановке маневров посредникам беззлобной шуткой присвоено наименование «внутреннего врага».

Посредники назначаются для постановки решений при столкновениях сторон. Посредник — лицо нейтральное, пользующееся правом свободного перемещения по всему району маневров. Посредники—это уполномоченные, это аппарат Главного руководства маневров, посредникам известно то, что не может быть и не должно быть известно командованию сторон. Для каждой стороны назначаются старший посредник, и в его распоряжение — посредники при отдельных частях, посредники всех родов оружия и специальностей. В помощь последним назначаются специальные огневые посредники для учета действий огня. Может быть, эти-то и не самые неприятные для «воюющих».

На платформе железнодорожного полустанка красноармеец-переменник горячо и убежденно (это было непосредственно по окончании маневров), горячо и убежденно утверждал, что если бы посредник не остановил их батальона, они бы непременно разбили, на голову разбили отступающего противника.

— Да почему вы так думаете, товарищ?

Он на минуту задумался, потом не очень твердо сказал:

— Мы же на сборах ведь тактические занятия в поле проходили, а потом их прорабатывали.

— Ну и что же из этого?

— А как же, мы ведь тоже понимаем.

Впрочем, это тоже не очень убежденно, а вот после паузы:

— Очень ребята рвались, дух был настоящий,— вот это с такой убежденностью, что сразу становится понятной его вера в неизбежность победы его батальона.

Это, конечно, от войны, вернее, это совсем как на войне, где армия выступила с прекраснейшим человеческим материалом. Это совсем как на войне, потому что в раж и опьянение приходят бойцы «проводящих полевые упражнения войск», это совсем как на войне, совсем как в боевой обстановке, как в условиях, не разрешающих верить никому, кроме только «своих», категорически «своих», настраивается и безотказно работает человеческая психика. Хотя бы вот такой пример.

Беззвездная сентябрьская ночь, с обеих сторон обступившая шоссе, сгустила тьму до черноты типографской краски. Иногда только ее прорезают секущим лучом фары проносящихся автомобилей. Мы идем к штабу: я и мой спутник, работник политотдела Главного руководства. Сноп полоснувшего по шоссе автомобильного света словно врезал в черную сплошную гущу группу желтых сосновых стволов. Среди них мелькнул белый абрис конской фигуры.

— Какой-то пост,— говорит мой спутник.— Пойдемте поговорим с красноармейцем.

Мы подходим.

— Товарищ, вы что здесь делаете? — спрашивает мой спутник.

— А вы кто такие будете? — следует неукоснительно строгий ответ.

— Я из политотдела. Посредник.

У нас обоих на рукавах нумерованные белые повязки, посредник не может принадлежать ни к одной из «воюющих» сторон. Ответ изобличает своим тоном, что даже посредникам в ночное время он не решится довериться.

— Лошадь караулю.

— А лошадь зачем здесь?

— Лошадь при мне.

Больше этого ничего от него и не добились.

В начале нынешнего десятилетия генерал Драгомиров предлагал на маневрах выдавать на каждую тысячу холостых патронов один боевой, чтобы ввести «элемент опасности». Все страны, все армии мира неизбежно стараются и должны стараться обставить маневры насколько это только возможно похоже на действительную военную обстановку. Система боевой подготовки солдата, имеющая своей целью выработать в человеке только определенную группу условных рефлексов, подавив сознательно критическое отношение к окружающему, обязывает строить маневры именно так, «вводить даже элемент опасности»,

ибо этим проверяется, как привились нужные рефлексы.

И вот в резком контрасте — красноармеец, не отказывающийся говорить с посредниками, ибо все-таки это не шпионы противника, и вместе с тем хитрящий и увиливающий от прямого ответа. На войне, как на войне. А война обязывает всех воюющих прежде всего к соблюдению военной тайны. И пусть кто-нибудь скажет, что не сознательно, от солдатского автоматизма, запирающего на посту язык, отказался разговаривать этот красноармеец. Пусть кто-нибудь скажет, что не система иного, сознание развивающего воспитания заставляет отставшего и спешащего догнать свою часть красноармейца досадливо отмахнуться от вопроса — «ел ли он что-нибудь сегодня».

— Обед — это что? И без приварка обойтись можно, был бы хлеб. А сейчас и о хлебе позабыл думать: горячка.

Пусть кто-нибудь скажет, что это не от системы, которой воспитываются такие бойцы, не от природы того целого и мощного организма, который называют Красной армией, пусть скажет,— автор этих строк, видевший и испытавший систему воспитания, непохожую на эту, и прошедший старую царскую армию, видевший и маневрировавший с нею вместе в условиях, где элемент опасности стал единственным действенным элементом, сможет рассказать и другое, что видел он на маневрах этого года.

В лесу среди древесных стволов остановившаяся на привал конная часть. Сумерки. Чтобы не демаскироваться, люди остерегаются выйти на самую опушку. Но около самых крайних дерев, пользуясь остатками исчезающего света, сбившись по группкам, люди внимательно слушают чтеца.

— Что это у вас, товарищи?

— Газеты читаем. Вот только сейчас время выбралось. Сегодня весь день прошел в походе, некогда было, а мы в соцсоревнование между собой включили такой пункт, чтоб обязательно прорабатывать каждый день газету.

Видите: это пункт соцсоревнования, которое требует и лучшего выполнения боевого задания, и лучшего сбережения на походе коня, и перегоняющего уставные сроки выполнения саперных работ (часть была сапэскадроном), и многого другого, это соцсоревнование, значит, от себя, от своего разумения, от своего отношения к делу, к обязанностям, к долгу.

Летом этого, тридцатого года я проходил переподготовку.

Я родился... Впрочем это совсем не важно — в каком году родился я.

В остатних годах девятнадцатого столетия увяз только ребяческий лепет, всему удивлявшиеся и ко всему любопытные, но не успевшие еще ничего высмотреть глаза пятилетнего ребенка. Вместе с двадцатым рос человек. Год рождения определил судьбу. Судьба поколения, моего поколения

в ином краю света не может показаться завидной. Ремарк о ней сказал просто:

«Мы не сможем уже приспособиться к жизни... Мы лишние даже для самих себя, мы будем расти, некоторые из нас приспособятся, другие покорятся, но многие останутся беспомощными; годы будут проходить, и, наконец, мы погибнем».

Я стою в очереди у бревенчатого строения, менее напоминающего дачный домик, более — барак. По июньской жаре многие сняли шляпы и кепки. Я вижу седые и лысые головы, очень мало в очереди людей, у которых сохранились непоседевшие волосы.

Очередь продвигается быстро. В бараке — пахнущая смолой прохлада, застеленные бумагой столы, люди в военной форме за ними.

Очередь упирается в один из столов. За ним писарь заносит в разграфленный лист карандашом:

— Фамилия? Категория учета? Должность, с которой был демобилизован?

Последняя графа — возраст.

Я невольно пробегаю глазами столбцы четырехзначных цифр, громоздящихся над моей датой.

1893, 1895, 1890, 1892 и опять — девяносто пятый, четвертый, третий.

Словом — это поколение, — на Западе сказали бы: «...уничтоженное войной, хотя и избежало ее гранат...» — встало в очередь. Исторически судьба его должна быть однообразной.

Час или сорок минут назад этих людей с чемоданчиками и портфелями доставил сюда дачный поезд.

Одиннадцать километров расстояния не делают другим даже солнца. Над зеленью полей, над редким хвойным леском, над столпившимися вокруг железнодорожной станции дачами мутное, словно сквозь кисею пыли просочившееся сияние. Такое сияние присуще городу, им наполняются в ранние утренние часы уличные русла. Сюда на поля оно дотекло именно оттуда. Вероятно, поэтому и автобус, тоже доставивший сюда таких же с чемоданчиками и портфелями людей, никак не дисгармонирует с местностью. Надпись — Пл. Свердлова — Арбат — Сетунь — не заражает пространственным пафосом, наоборот, как бы устанавливает неотъемлемость этого полустанка от Москвы, от ее торопливых, трудовых будней... Люди, сходящие с поезда, приехавшие автобусом, ничем и никак не отличаются от заполняющих по утрам московские улицы.

Я — не сторонний наблюдатель среди прибывших. В мой учетно-воинский билет, восемь лет ничем и никак не обременявший ни моей жизни, ни моего бумажника, вложено в это утро предписание «...явиться в распоряжение начальника Курсов усовершенствования комсостава РККА...»

В заголовке — командиру запаса.

В памяти, в годах, уходящих в далекое прошлое,— управления воинских начальников, этапные

коменданты, подъезды военных училищ и казарм, куда также с вещами и чемоданами вливались неизвестно почему торопящиеся люди, чтобы потом долго, а многим и никогда, не вернуться уже к этому, настоящему своему облику. Еще помню: беспредметную и неизбывную тоску, застывавшую в глазах, тяжелившую движения, тоску, которую столько раз видел, столько раз питал в себе у ворот тех же казарм, на железнодорожных платформах, когда отбывали маршевые эшелоны. Но нет, сейчас это совсем непохоже, что люди идут в казармы. Я даже думаю, что такие же, как у меня, предписания ни для одного не отрезают его собственного обычного вчера. С такой же привычной, как прочно привившийся рефлекс, торопливостью спешили бы они сейчас на службу, вливались бы в подъезды учреждений где-нибудь на Ильинке или Кузнецком.

Часовой у ворот, у надписи «Стой, предъяви пропуск» говорит.

— Товарищ командир...

Товарищ командир — в пиджаке и шляпе. Но у товарища командира редеющие со лба и на затылке волосы, у других они седые или их очень уж мало, у товарища командира морщины не разбегаются, а прочно залегли на лбу, у рта. Товарищ командир мог бы быть отцом этому белобрысому веселому пареньку, и мне кажется, что его почтительность имеет более глубокие, более человечные корни, чем только обязательный военный пиэтет.

Возможно, и даже вероятно, он ничего не знает о том параграфе учетно-воинского билета, где писарским бисером занесено: «Бытность в походах и делах против неприятеля в составе Кр. армии», вероятно, сейчас «товарищ командир» совсем для него еще не командир, но кажется мне, что и морщины, и седина, и лысины говорят ему больше, чем мог бы сказать писарский бисер.

Люди, стоящие со мной в очереди, тоже не молоды, я не вижу лиц, в черты которых нельзя бы было вложить того же, что прочлось моему красноармейцу. Вот этот седой гражданин в белой толстовке, — у него слишком добросовестный вид бухгалтера или кассира, неужели и он тащит с собой память сырых окопов, бессонных, изнемогающих от орудийного гула ночей, неужели и он три, два года — почем я знаю, сколько лет — жил одним тоскливым отчаяньем уцелеть, сохраниться среди всеобщего разрушения и смерти? Но это так.

Здесь нет ни одного человека, который бы не прошел через этот мир отчаянья, всеобщего разрушения и смерти.

Врач, производивший осмотр, не спрашивал:

— Были ли ранения, контузии?

Лекпом, заполнявший санитарный листок, просто и коротко бросал:

— Сколько раз ранены? Контужены?

Очень немногие отвечали:

— Ни разу.

Первая лекция, которую мы слушаем здесь, начинается вступлением:

— Товарищи, вы все здесь — участники империалистической и гражданской войны...

На тактических занятиях, вечером в роте, решая заданную тему, отстаивая правоту своего решения, как собственной жизнью, аргументировали историей:

— В шестнадцатом на Стоходе...

— Под Уфой, когда белые перешли...

— Когда мы брали Батайск...

Да, и мы брали города, мы мокли и гнили в окопах, мы — «участники», люди одного поколения, которых девятнадцати-и двадцатилетними мальчиками послали воевать.

«Ураганный огонь, заградительный огонь, мины, газ, танки, ручные гранаты» — все слова и слова, но они заключают в себе весь ужас мира.

Мы рьяно,— я не знаю другого слова, как рьяно,— мы рьяно стремились в течение всего сбора овладеть способами противоборствовать этому ужасу.

Эрих-Мариа Ремарк, если бы вы видели это, вы бы не вынесли вашего беспощадного приговора всему поколению целиком. Лагерный сбор старшего начсостава запаса РККА предостерег бы вас от столь широких обобщений.

Утром за окном хрипло кричит труба. Шесть тридцать, час подъема. Может быть, несколько и рано, чуть тяжело для людей, назвать которых мо-

лодыми можно только с большой натяжкой, людей, измотанных в достаточной степени войной, за семь-восемь лет в значительной степени, так сказать, демилитаризировавшихся и после всего этого неожиданно получивших довольно осязательную, в 8—10 часов минимум, военную нагрузку? Ничуть не бывало.

Я не видел запаздывающих на занятия лентяев и сонь. Я не слышал раздраженной ворчни, когда труба отрывает вас от особо сладкого по раннему часу сна. Оказывается, русское поколение тридцатилетних хранит в себе еще очень большой запас бодрости. Да бодрости ли только?

Нам не ставили отметок при решении заданной темы, нас не экзаменовали в прослушанном и пройденном, но если бы и в средней школе мы с таким же прилежанием прорабатывали наши уроки, мы выходили бы в жизнь с иным багажом. Тридцати- и тридцатипятилетние мужчины могли бы показать пример второступеннику, как надо учиться. Тридцати- и тридцатипятилетние мужчины соревновались в стрельбе с жаром и горячностью, не уступающими красноармейцу по второму году службы. Убеленный сединой человек, украшенный орденом Красного знамени, краснел и смущался, как мальчик, когда посетивший стрельбище командвойск МВО тов. Корк заметил, просматривая его мишень:

— Воевали-то вы хорошо, а вот стреляете...

Убежденно виноватый, растерянный, как у

школьника, вид краснознаменца удержал командующего произнести «плохо».

На общекурсовом собрании, когда роты заключали между собой договор о соцсоревновании, один за другим выступали командиры, требуя исключить из договора пункт о строгом соблюдении дисциплины:

— Товарищи, мы старые командиры: такого объекта соревнования для нас не может и не должно быть.

Соцсоревнование в части, соцсоревнование между отдельными войсковыми подразделениями это несколько иное, чем на производстве.

Ведь здесь основным, а не привходящим объектом делается сам соревнующийся: переработка, переделка собственной психо-физической сущности.

Шесть недель слишком краткий срок, но добросовестность и рвение, с которыми приступали, с которыми проводили междуротные соревнования, лучше всего говорят, с какими стремлениями, с какой установкой приходит на переподготовку красный командир запаса.

Мы вернулись в казарму, и мы приветствуем это. Нас, тридцати-и больше-летних, гоняют и загружают занятиями несравнимо больше, чем то же делали с нами в девятнадцать и двадцать лет в полках и военных училищах, и мы благодарим, мы просим увеличить учебную нагрузку, потому что страшно за шесть недель не получить всего необходимого командиру Красной армии.

Вечерами во всех ротах горит свет. Это было обычно, это было всегда. На койках расстелены карты, многие уже полураздеты, но по группам, на койках идут оживленные споры. Обсуждается на все лады решение сегодняшней темы, прорабатывается завтрашняя. И опять: Августовские леса и Тарнополь, Уфа и Каховка, Архангельск и Варшава.

Нам не по двадцать лет. Очень немногие из нас сказали на медицинском осмотре, что они не были ни разу ранены, за нами тяжелые и страшные многие годы.

Стоход и Сморгонь, Урал и Таврические степи. Крымские перешейки и Архангельские тундры — это ведь не названия из тактических задач, за ними-то, из чего создаются романы, на материале чего пишутся книги кровавого и страшного быта войны.

Мы лежим на земле в редком хвойном леске. Мимо нас проходят гуляющие дачники. В небе крутые облака, и истомляющим зноем переполнен день. Пятиминутный перерыв — мы лежим, курим и болтаем, потому что нужно хоть на минуту оторваться от карты, говорить все по тому же поводу, но без соблюдения субординации размеченных на военную игру лиц. Впрочем, в минуты перерыва разговор может и отойти от разрабатываемой темы.

Человек с седыми висками,—может, его-то я и видел в первый день в воротах лагеря: этот-то

действительно бухгалтер,— человек с седыми висками запрокидывается на земле. Минуту он смотрит в густую синеву, распростертую над чахлым лесом. Должно быть, бегущие по ней крутые облака вызывают в нем воспоминания.

— Вот ровно пятнадцать лет назад,— начинает он медленно,— да, как раз в эту пору: в июле пятнадцатого это было... Человека собственной рукой ухлопал... И как смешно вышло: убивать и в мыслях не было...

Рассказчик — наш взводный остряк и балагур, его слушают всегда с охотой. Слушают и сейчас, но особого интереса не заметно. Да и действительно, что может быть тут интересного? Они заняли австрийские окопы. Какой-то бородач бессмысленно и упорно — так всегда бывает с насмерть перепуганными людьми — какой-то бородач бессмысленно тыкал винтовкой в пространство. Подойти нельзя — заколоть может, и бессмысленно.

— Я и хотел-то оглушить его только,— с такой же неторопливостью рассказывает бухгалтер,— рукояткой нагана по виску стукнуть, да не знаю, как это вышло: сбоку я к нему подскочил, а попал в самый нос. Тут, знаете, место такое...

Да, да, все знают, какое тут место. В этом месте даже легкий удар ломает хрящи и тонкие кости черепа.

Где это было? Рава Русская, Тарнополь. Это было, это ни у кого не вызывает удивления. Поэтому мы не реагируем ни удивлением, ни ужасом.

Через пять минут мы уже опять с увлечением и самозабвенно оспариваем правильность направления, выбранного для ударного батальона.

Может быть, я преувеличиваю, не по тридцать пять и больше нам, собравшимся здесь, может быть, многие моложе, не видели фронта, не знают его, не представляют. Может быть, нас так увлекла «игра в войну»?

Нет. Жизнь, по-серьезному деловая, требовательная и строгая, жизнь, посеребрившая наши волосы, наложившая морщины на лица, эта жизнь не позволит потратить время на «игру».

Мы не только с ожесточением и рьяно постигали военную мудрость, мы не только хотим не отстать в умении водить полки. В часы партпроса, не общеобязательные часы проработки материалов XVI партсъезда, взводы собирались в полном составе: ни одного уклонившегося, ни одного отмахнувшегося от коллективной читки, проработки газет, которые многие несомненно до этого прочли от строки до строки. И за этой проработкой — полные самого глубокого, самого взволнованного интереса вопросы. Страна призвала нас освежить и пополнить наши военные знания, наш боевой опыт подкрепить новыми теоретическими познаниями, потому что мы кровно связаны с нею, кровно заинтересованы и вовлечены в то огромное, исторически мировое дело, которое осуществляет восходящий класс; мы, дети этой страны, по-иному не можем относиться ко всему, что совершается вокруг.

Товарищ Ремарк, мы ваши ровесники, но мы благодарим жизнь и родину, ту чудесную страну, которая нас, тридцатилетних, нас, в муках фронтов, отчаянной тоски о спасении и животного страха уцелеть, нас, войной уничтожаемых для жизни, нас, уже опрокинутых в небытие, ибо и мы, как наши западные ровесники, видим себя в вашей страшной книге,— вернула, привела к жизни, научила и заставила ее любить, строить.

На маневрах, на привале полковой посредник, немолодой уже человек из кадрового состава РККА, резюмируя итоги утренней операции, сказал:

— Да вот еще командиры запаса. Жалко, что они с кадровой молодежью в соцсоревнование не вступили. Неизвестно еще, кто вышел бы победителем. Одно можно сказать: на войне старики не подкачают.

В небе пышно и холодно цвел октябрьский день. Полк, остановившийся на привал, воскрешал в памяти давно забытые пейзажи. Невдалеке от нас группа красноармейцев с напряженным вниманием слушала чтеца газеты. Слова полкового посредника словно перенесли на это поле мысли о Ремарке, о себе и о жизни, мысли, сложившиеся в дни переподготовки в лагере «Выстрел» летом этого, тысяча девятьсот тридцатого года.

Лагерь «Выстрел».
Москва. 1930 г.

УЛИЦЫ УВОДЯТ В БУДУЩЕЕ

В мир, несколько более широкий, чем семья, повела меня Первая Мещанская. Сейчас такой улицы нет: на трамваях, огибающих от Сретенки справа Сухареву башню, чтобы устремиться по прямой и широкой, со спрятавшимися в окаймляющую ее зелень тротуарами улице — надпись: «Первая Гражданская». Уже забывается название заканчивающего ее вокзала: он теперь Балтийский. Переулки тоже сменили свои названия. Но самое главное и не в названиях, самое главное, что теперь Первой Мещанской нет.

Конечно, это не Первая Мещанская, по которой я восемь лет изо дня в день спешил в гимназию. Что же в ней похожего на ту тесную, заставленную неважного вида особнячками, на моей памяти застраивавшуюся многоэтажными доходными домами улицу?

Трамвай. Ну, разумеется, трамвай тогда не ходил. Впрочем, тогда трамвай не назывался трамваем, его называли электричкой, в отличие от конки, хлипкого вагончика, который катали по рельсам две клячи. Конки ходили по многим ули-

цам. Проползавшие центр имели «империалы» — второй этаж,— куда вела с площадки витая железная лестница. По Мещанской конка ходила без империала, даже тащила ее одна только кляча, и вагончики были поменьше: улица неважная, захудалая, хотя и построили в конце ее вокзал. Вообще, непонятно, зачем тогда нужны были какие-то коммунальные средства передвижения. У меня и сейчас такое убеждение, что на конках и трамваях ездила тогда только учащаяся детвора, ездила два раза в день, а в остальное время конки ходили пустые. Остальные, то есть не гимназисты в серых, с серебряными пуговицами пальто или реалисты в зеленых с золотыми, или гимназистки со связкой книжек в клеенке, с провожатыми,— передвигались или на извозчиках или на «собственных». Не на ногах, разумеется, а на лошадях. Последние отличались от извозчиков всем обликом. В конке внутри обычно бывало пустынно, даже скамейки не все были заняты. Не в мороз можно было видеть, как обгоняли щеголеватые рысаки неторопливо постукивавший на рельсах вагончик.

Летом улица была необычайно шумливой, гремучей. К вокзалу шли бесконечные обозы, от вокзала тоже. Булыжная мостовая походила на корку не всюду одинаково подошедшего пряника. О круглые головки выпиравших из земли булыжников тяжело громыхали колеса ломовиков, певуче тарахтели пролетки, пролетки тоже были на

железном ходу. Автотранспорта не было. Впрочем, если бы он и был, вряд ли им можно было бы пользоваться зимой. Конский шаг вырубал тогда в смерзшемся на мостовой снеге продольные, через всю улицу, прямые рытвины: езда даже в извозчичьих санях напоминала морскую качку. Летом мостовую чинили. Почти все улицы бывали перегорожены рогатками. За рогатками люди, сидя на корточках, закапывали в желтый песок круглые булыжники. И эта работа все в том же ритме неторопливо погромыхивающей конки, медленно ползущих обозов, еле-еле плетущихся извозчиков. Прохожим очевидно спешить тоже было некуда. Прохожие идут совсем неспеша, прохожих немного. Многолюдные улицы не быстрее в ритме общего движения, только людей больше, больше извозчиков. Предельной, максимальной скоростью тех времен были «собственные», рысившие убежденными победителями.

Конка, булыжная мостовая, иней на деревьях, выбросивших из палисадников на улицу свои лапы. Зимой на улицах тихо, скрипит снег. Медленно ползут обозы. Гимназисты и гимназистки ждут на разъездах (разъезд двух встречных вагонов был остановкой) конку. На пылящих снежной пылью рысаках проносятся бобры и каракули, в бобрах и каракулях лиц не видно. Чем живет такой город? Что делается в нем?

Первый выход в расширенный мир оставляет в убеждении, что служащие неизвестно где роди-

тели только затем и служат, чтобы по утрам отсылать детей в школу. Несложное уличное оборудование только затем и сделано, чтобы эти дети добирались до своих школ. Остальное только декорация.

Но годы ведут по этим же улицам в какие-то другие, еще и еще расширяющиеся миры. Родители служат уже не неизвестно где, город построен совсем не для того, чтобы только ездить на конке в гимназию, выставлять в магазинах вещи, которыми можно или только соблазняться или и соблазняться и покупать. Но все-таки, если бы не книжки, очень и очень долго не узнал бы я, что Москва — крупный, не только торговый, но и промышленный центр, что в ней много заводов и фабрик, что многие вещи, украшающие витрины магазинов, делаются здесь же, рядом, в городе.

Москва стара, однако она моложе многих и многих не только европейских, но и русских городов. Город, большой город — это слившиеся с центром посады, пригородные села, слободы. В слободах процветали ремесла, в слободах зарождались «мануфактуры» — ручные фабричные производства. Должна быть преемственность в функциональном характере городских районов. Мещанские приобрели свои названия от промышлявших когда-то ремеслами мещан. В годы моего детства ремесла, труд словно отступили с Мещанских. На Мещанских только жили. Это не парадная улица, это — окраина. Пятнадцать, двадцать

минут ходьбы — и застава, конец города. Купеческое благолепие этой купеческой столицы оттеснило за заставу производства, фабрики, заводы, труд. Это и естественно. Но вот почему эти близкие к заставам крайние улицы города ничем и никак не выявляют наличия в нем не только каракулей и бобров, собственных рысаков и два раза передвигающихся по городу в конке гимназистов?

Первая Мещанская кончалась Сухаревой башней, улица упиралась прямо в башню. По воскресеньям вокруг башни на двух площадях раскидывалась знаменитая «сухаревка», ежевоскресный базар, на котором торговали только подержанным. Каждое воскресенье базар собирал толпы маклаков и барышников, на базар из самых отдаленных уголков Москвы не ленились приезжать любители старины. Но и базар и сутолока нимало не убеждают, ни в какой степени не демонстрируют, что близки здесь заводы, что живут здесь не одни барышники и антиквары.

Но эти черты нерабочего города старая Москва горделиво, словно кичась, назойливо выпячивала и не на одних Мещанских. По крайней мере, на девяти десятых своей тогдашней территории она была приблизительно таковой.

В тысяча девятьсот тридцатом году, когда я спросил одного иностранца, видевшего Москву впервые, чем ему показался после Запада наш город, он, не задумываясь, ответил:

— Первой и единственной в мире столицей рабочих.

— Рабочий, трудовой город рабочих,— добавил он, помолчав, очевидно пытаясь пояснить свое определение.

Этого можно было и не добавлять: ясно. А кроме того это и верно.

Москва рабочая. Другой Москвы сейчас нет. В этом убеждают улицы, дома, уличная толпа, движение, ритм его, то есть как раз то, из чего составляется представление о любом и каждом городе.

Я вовсе не потому начал с Первой Мещанской, вовсе не потому, что восемь лет ходил по ней в гимназию. Путь туда дальше проходил по Сретенке, бывшей Лубянке, Театральному проезду, Большой Дмитровке. С девятого или десятого года он совершался уже на трамвае, электричке, даже не предке, а вот на таком же трамвае, как современный московский. Но и это почти ни в чем и никак не изменило лица города. И трамвайная скорость казалась тогда не городской, не городом определенной скоростью, а так какой-то взбалмошной, несерьезной, но приятной.

Я начал с Первой Мещанской потому, что теперь она Первая Гражданская, не парадная — простая улица, но ее видит первую приезжающий с Запада, сходящий с Балтийского вокзала человек. В таком случае это почти ворота, через которые вступают в Москву.

Летним вечером, мокрой осенней ночью широкая река асфальта катит свои черные воды. В водах плещется белый, столь непохожий на тусклое мерцание керосиновых фонарей, ровный и спокойный свет. Днем асфальт стирает до мягкого шелестения стуки колес, грохот повозок. Впрочем, и стучать-то теперь почти нечем. Зимою ледяной покров московских мостовых так заполирован автомобильными шинами, что конскому шагу нигде не удается нарубить поперечных рытвин. Московские ломовые, знаменитые ломовые, которых изображали на открытках с «памятью о Москве», отходят в прошлое. Мы строим заводы — автогиганты, наши автосборочные вступают между собой в соцсоревнование. Московские улицы не для конского транспорта. Они перерождались, скинув со счета рысаков, развозивших бобры и каракули, они растут и меняются, только едва помня архаический ломовой полок.

Асфальт. Дореволюционная Москва не имела ни одной целиком асфальтированной улицы, только кусочки некоторых, иногда даже переулков вдоль особо буржуазных особняков были залиты асфальтом. Брусчаточные мостовые появились только перед самой войной. Была еще деревянными торцами замощена часть Тверской. Сейчас резина автомашин словно паркет натирает улицы, на километры покрытые асфальтом. Плотным, как броня, покровом брусчатки покрываются покатости ее, брусчаткой одеты чуть ли не все

московские площади. На улицах с большим движением — на Садовых, на той же Гражданской за палисадники, к самым домам отступили тротуары. Окаймленные зеленью мостовые нарядны, как дороги в парке. Каждое лето,— нет больше на корточках одиноко копающегося за рогатками мостовщика: таким способом скоро не переоденешь Москву,— стройной шеренгой мостят каменщики, бетонщики граблями разравнивают выплюнутый бетономешалкой бетон. Машины заливают московские улицы асфальтом. Москва, она не чинится, она переодевается, она заканчивает свой туалет для нового великолепного исторического выхода.

У кинорежиссеров, советских кинорежиссеров, есть один прием, широко использованный, но отнюдь не избитый, отнюдь не надоевший. За новизну его всегда говорит натура.

Это:

— Мы строим.

Так часто, очень часто показывают страну, строящую социализм.

Титр: «мы строим» перебивает кадры, на которых перед зрителем проползают курящиеся дымом домны, уходят снизу от земли в небо, в высь чудовищные турмы, проползают краны, скелеты металлических каркасов будущих циклопических сооружений, раскрываются раскаленные горны, проносятся машины, части машин, конвейеры. Мы строим!

В очерке, в рассказе можно даже резче и проще. Чужим глазом, глазом, оторвавшимся от иных пейзажей, схватить, чтобы передать такие картины. Мы строим. Мы строим все и всюду. И Москва, рабочая столица всего мира, строится, меняет свой облик, наряд для своего исторического выхода.

Все те же стоят по переулкам, по былым аристократическим кварталам особняки. Но они совсем не те, совсем другие. В дни каких-нибудь особо ударных кампаний, в дни революционных торжеств все дома, все строения разговаривают одним языком, одной слитной речью. И на особняке и на новом, только что выросшем многоэтажном жилищном кооперативе — сходные, созвучные, единодушные по смыслу лозунги и воззвания. А ведь это творчество живущих, их оформление. Вот это незамечаемое, естественное и простое для нас, уже одно это поражает в Москве иностранца.

В Москве очень много новых, уже в революционные времена выстроенных зданий. Конструктивный четкий и строгий, как вся наша эпоха, стиль отличает их в общей массе каменной Москвы. Но не они еще делают архитектурный пейзаж города.

Институт Ленина, бетонная громада нового здания Московского комитета партии, Центральный телеграф на Тверской, дом Госторга на Мясницкой, дом Правительства у Каменного моста — они хорошо скомпанованы с окружающим пейзажем.

Они возглавили все эти, нуждам рабочей столицы служащие ампиры, поздние купеческие готики, аляповатые модерны, возглавили их, разговаривающих теперь одним языком, повели.

Для будущей Москвы слишком тесны кишки ее узких кривых улиц. Уже сейчас выпрямляются они. Покрываются мостовые асфальтом: булыжник для темпов сегодня не годится, он жил для «ваньков» и конок только. Пустынные, да, почти пустынные улицы купеческого торгашеского города, которые восемь лет вели еще не очень научившегося смотреть гимназиста, вели в неизвестное, совсем неизвестное будущее, обернувшееся солдатской шинелью, сырыми окопами и трехлетней страшной, животной тоской уцелеть,— эти улицы, сменившие сейчас свое обличие, так невероятно не похожие на самих себя прежних, уводят в другое, осмысленное, желанное будущее. Уводят массы, миллионы, ибо миллионы, демонстрируя несокрушимую волю пролетариата установить на всей земле социализм, текут сплошным потоком на Красную площадь в дни революционных торжеств.

Москва.
Январь 1931 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена 1 р. 25 к.

СКЛАД ИЗДАНИЯ
КНИГОЦЕНТР ОГИЗА
Москва, Центр, Кузнецкий, 16. Ленинград,
Ленотгиз Проспект 25-го Октября, 28.